

М. Яугаускас

**СОБРАНИЕ
СТИХОВ**

La Presse Libre
Paris

XX век

Владислав Ходасевич

СОБРАНИЕ СТИХОВ



ВЛАДИСЛАВ ХОДАСЕВИЧ

СОБРАНИЕ СТИХОВ

В ДВУХ ТОМАХ

Редакция и примечания Юрия Колкера

I

**La Presse Libre
Paris**

Titre original en russe:

Vladislav Khodasevitch
SOBRANIYE STIKHOV

© Edition de «La Presse Libre»
1982

ISBN 2-904228-05-5

Tous droits réservés pour tous pays.

Toute reproduction, même partielle, de cet ouvrage est interdite.
Une copie ou reproduction par quelque procédé que ce soit, photographie, microfilm, bande magnétique, disque ou autre, constitue une contrefaçon passible des peines prévues par la loi du 11 mars 1958 sur la protection des droits d'auteur.

Imprimé en France.

Настоящее Собрание представляет поэтическое наследие В.Ф.Ходасевича с наибольшей, исходя из сегодняшних возможностей, полнотой. Оно содержит все пять книг поэта, каждую — в авторской композиции последнего прижизненного издания; все дополнения Н.Н.Берберовой, сделанные ею к изданию 1961 года по принадлежащим ей автографам и журнальным публикациям; наконец, все обнаруженные нами стихотворения из отечественной и зарубежной периодики. Большинство пьес Собрания — и, кроме того, специально каждая из составляющих его книг — снабжены подробными примечаниями. В них использованы автобиографические заметки и комментарии автора; его письма; рецензии, воспоминания и письма современников, а также литературоведческие сочинения. Впервые вместе с оригинальными стихами публикуются стихотворные переводы Ходасевича. Они отнесены во второй том. Там же дан очерк жизни и творчества поэта.

Ю.Колкер

Том первый

МОЛОДОСТЬ
СЧАСТЛИВЫЙ ДОМИК
ПУТЕМ ЗЕРНА
ТЯЖЕЛАЯ ЛИРА

СОДЕРЖАНИЕ

МОЛОДОСТЬ

В моей стране

	Текст	Примечания
В моей стране	3	214
«Нет, молодость, ты мне была верна...»	4	214
«Вокруг меня кольцо сжимается...»	5	215
«Один среди речных излучин...»	6	215
Как силуэт	7	215
Осень	8	216
Sanctus Amor	9	216
Утро («Молчи, склони свое лицо...»)	10	-
«Протянулись дни мои...»	11	217
Ряженные	12	217
Гадание	13	218
«Все тропы проклятью преданы...»	14	218
К портрету в черной рамке	15	218
Ночи	16	219
«Опять во тьме. У наших ног...»	17	-

Кухина

Зарница	18	219
Звезда	19	219
Стихи о кухне:	20	219
I. Она	20	220
II. Старинные друзья	21	220
III. Воспоминание	22	220
IV. Кухня плачет	24	-
Романс («"Накинув плащ, с гитарой под полою"...»)	25	220
Поэт. Элегия	26	221
«Вечер холодно-весенний...»	27	-

Мыши:	64	236
1. Ворожба	64	236
2. Сырнику	65	237
3. Молитва	66	237

Звезда над пальмой

«За окном — ночные разговоры...»	67	238
Портрет	68	-
Прогулка	69	238
Досада	70	238
Успокоение	71	238
Завет	72	238
Февраль	73	239
Бегство	74	-
Ситцевое царство:	75	239
1. «По вечерам мечтаю я...»	75	239
2. «К небольшому подойдя окну...»	77	239
Вечер («Красный Марс восходит над агавой...»)	78	239
Рай	79	-

ПУТЕМ ЗЕРНА

Путем зерна	83	244
Слезы Рахили	84	244
Ручей	85	245
«Сладко после дождя теплая пахнет ночь...»	86	246
«Брента, рыжая речонка...»	87	247
Мельница	88	247
Акробат	90	248
«Обо всем в одних стихах не скажешь...»	91	248
«Со слабых век сгоняя смутный сон...»	92	249
«В заботах каждого дня...»	93	249
Про себя:	94	249
I. «Нет, есть во мне прекрасное, но стыдно...»	94	250
II. «Нет, ты не прав, я не собой пленен...»	95	250
Сны	96	251
«О, если б в этот час желанного покоя...»	97	251
«Милые девушки, верьте или не верьте...»	98	252
Швея	99	253
На ходу	100	253

Утро («Нет, больше не могу смотреть я...»)	101	254
В Петровском парке	102	254
Смоленский рынок	103	254
По бульварам	104	255
У моря («А мне и волн морских прибой...»)	105	256
Эпизод	106	256
Вариация	109	257
Золото	110	258
Ищи меня	111	258
2-го ноября	112	259
Полдень	115	260
Встреча	117	260
Обезьяна	119	261
Дом	121	262
Стансы («Уж волосы седые на висках...»)	124	262
Анюте	125	263
«И весело, и тяжело...»	126	263
Без слов	127	264
Хлебы	128	264

ТЯЖЕЛАЯ ЛИРА

Музыка	131	270
«Леди долго руки мыла...»	133	270
«Не матерью, но тульской крестьянкой...»	134	271
«Так бывает почему-то...»	136	273
К Психее	137	274
Душа («Душа моя — как полная луна...»)	138	274
«Психея! Бедная моя...»	139	275
Искушение	140	276
«Пускай минувшего не жаль...»	142	277
Буря	143	278
«Люблю людей, люблю природу...»	144	278
Гостю	145	280
«Когда б я долго жил на свете...»	146	280
Жизель	147	281
День	148	282
Из окна:	150	282
1. «Нынче день такой забавный...»	150	283
2. «Все жду: кого-нибудь задавит...»	151	284
В заседании	152	284
«Ни розового сада...»	153	285

Стансы («Бывало, думал: ради мига...»)	154	286
Пробочка	155	286
Из дневника («Мне каждый звук терзает слух...»)	156	287
Ласточки	157	287
«Перешагни, перескочи...»	158	288
«Смотрю в окно — и презираю...»	159	288
Сумерки	160	289
Вакх	161	289
Лида	163	290
Бельское Устье	164	291
«Горит звезда, дрожит эфир...»	166	291
«Играю в карты, пью вино...»	167	292
Автомобиль	168	292
Вечер («Под ногами скользь и хруст...»)	170	292
«Странник прошел, опираясь на посох...»	171	293
Пророк и смерть	172	293
Элегия («Деревья Кронверкского сада...»)	173	294
«На тускнеющие шпили...»	174	294
Март	175	295
«Старым снам затерян сонник...»	176	295
«Не верю в красоту земную...»	177	295
«Друзья, друзья! Быть может, скоро...»	178	296
Улика	179	296
«Покрова Майи потаенной...»	180	297
«Большие флаги над эстрадой...»	181	297
«Гляжу на грубые ремесла...»	182	297
«Ни жить, ни петь почти не стоит...»	183	298
Баллада («Сижу, освещаемый сверху...»)	184	298

ДОПОЛНЕНИЯ Стихи, исключенные из последней авторской редакции книг

I

[Путем зерна]

Газетчик	189	300
Уединение	190	300
«Как выскажу моим косноязычьем...»	191	-
Рыбак. Песня	192	-
Воспоминание	193	301

Сердце	194	301
Старуха	195	302

II

Тяжелая лира

«Слепая сердца мудрость! Что ты значишь...»	197	302
«Слышать я вас не могу...»	198	-
Невеста	199	-

ПРИЛОЖЕНИЯ

Автобиографические заметки В.Ф.Ходасевича

[Канва автобиографии (до 1922)]	203
[О себе]	205

Примечания

Молодость	211
Счастливый домик	223
Путем зерна	240
Тяжелая лира	264
[Дополнения]	300

Литература

Сочинения и публикации В.Ф.Ходасевича	305
Библиография	308



МОЛОДОСТЬ

Марине

В МОЕЙ СТРАНЕ

В МОЕЙ СТРАНЕ

Посв. Муни

Мои поля сыпучий пепел кроет.
В моей стране печален страдный день.
Сухую пыль соха со скрипом роет,
И ноги жжет затянутый ремень.

В моей стране — ни зим, ни лет, ни весен.
Ни дней, ни зорь, ни голубых ночей.
Там круглый год владычествует осень,
Там — серый свет бессолнечных лучей.

Там сеятель бессмысленно, упорно,
Скуля как пес, влачась как выючный скот,
В родную землю втоптывает зерна —
Отцовских нив безжизненный приплод.

А в шалаше — что делать? Выть да охать,
Точить клинок нехитрого ножа,
Да тешить женщин яростную похоть,
Царапаясь, кусаясь и визжа.

А женщины, в игре постыдно блудной,
Открытой всем все силы истощив,
Беременеют тягостно и нудно
И каждый год ролят, не доносив.

В моей стране уродливые дети
Рождаются, на смерть обречены.
От их отцов несु вам песни эти.
Я к вам пришел из мертвенной страны.

⟨1907⟩



Нет, молодость, ты мне была верна,
Ты не лгала, притворствуя, не льстила.
Ты тайной ночью в склеп меня водила
И ставила у темного окна.
Нас возносила грузная волна,
Качались мы у темного провала,
И я молчал, а ты была бледна,
Ты на полу простертая стонала.
Мой ранний страх вздымался у окна,
Грозил всю жизнь безумием измерить...
Я видел лица, слышал имена —
И убегал, не смея знать и верить.

〈1907〉



Вокруг меня кольцо сжимается,
Неслышно подползает сон...
О, как печально улыбается,
Скрываясь в занавесях, он!
Как заунывно заливается
В трубе промерзлой — ветра вой!
Вокруг меня кольцо сжимается,
Вокруг чела Тоска сплетается
Моей короной роковой.

〈1907〉



Один среди речных излучин,
При кликах поздних журавлей,
Сегодня снова я научен
Безмолвной мудрости полей.

И стали мысли тайней, строже,
И робче шелест тростника.
Опавший лист в песчаном ложе
Хоронит хмурая река.

〈1907〉

КАК СИЛУЭТ

1.

Как силуэт на лунной синеве
Чернеет ветка кружевом спаленным.
Ты призраком возникла на траве,
— Как силуэт на лунной синеве, —
Ты вознесла к невнемлющей листве
Недвижность рук изгибом иступленным...
Как силуэт на лунной синеве
Чернеет ветка кружевом спаленным.

2.

Из-за стволов забвенная река
Колеблет пятна лунной пуантели.
О, как чиста, спокойна и легка
Из-за стволов — забвенная река!
Ты темная пришла издалека
Забыть, застыть у светлой колыбели.
Из-за стволов забвенная река
Колеблет пятна лунной пуантели...

⟨1907⟩

ОСЕНЬ

Свет золотой в алтаре,
В окнах — цветистые стекла.
Я прихожу в этот храм на заре,
Осенью сердце поблекло...
Вещее сердце — поблекло...

Грустно. Осень пирует,
Осень развесила красные ткани,
Ликует...
Ветер — как стон запоздалых рыданий.
Листья шуршат и, взлетая, танцуют.

Светлое утро. Я в церкви. Так рано.
Зыблется золото в медленных звуках органа,
Сердце вздыхает покорней, размерней,
Изязвленное иглами терний,
Иглами терний осенних...
Терний — осенних.

〈1907〉

SANCTUS AMOR

Нине Петровской

И я пришел к тебе, любовь,
Вслед за людьми приволочился.
Сегодня старый посох вновь
Пучком веселых лент покрылся.

И как юродивый счастлив,
Смотрю на пляски алых змеек,
Тебя целую в чаше слив,
Среди изрезанных скамеек.

Тенистый парк, и липы цвет,
И все — как в старых песнях пелось,
И ты, шепча «люблю» в ответ,
Как дева давних лет зарделась...

Но миг один, — и соловей
Не в силах довершить обмана!
Горька, крива среди ветвей
Улыбка мраморного Пана...

И снова ровен стук сердец;
Кивнув, исчез недолгий пламень,
И понял я, что я — мертвец,
А ты лишь мой надгробный камень.

<1907>

УТРО

Молчи, склони свое лицо.
Ночному страху нет ответа.
Глубинней серого рассвета
Твое жемчужное лицо.

Томлений темных письма
Ты иссекла на камне черном.
В моем гробу, как ночь упорном,
И ты была заключена.

Теперь молчи. Склони лицо,
Не плачь у гроба и не сетуй,
Навстречу мертвому рассвету
Яви застывшее лицо!

〈1907〉



Протянулись дни мои,
Без любви, без слез, без жалобы...
Если б плакать — слез не стало бы...
Протянулись дни мои.

Оглушенный тишиной,
Слышу лёт мышей летучих,
Слышу шелест лап паучьих
За моей спиной.

О, какая злая боль
Замолчать меня заставила.
Долго мука сердце плавилa,
И какая злая боль!

На распутьях, в кабаках
Утолял я голод волчий,
И застыла горечь желчи
На моих губах.

Я тобой смирен, молчу.
Дни мои текут без жалобы.
Если б плакать — слез не стало бы...
Я тобой смирен. Молчу.

〈1907〉

РЯЖЕНЫЕ

Мы по улицам темным
Разбежимся в молчании.
Мы к заборам укротным
Припадем в ожидании.

...«Эй, прохожий! прохожий!
Видел черта рогатого,
С размалеванной рожей,
Матерого, мохнатого?»

Ветер крепок и гулок.
Снег скрипит, разметается...
Забегу в переулок —
Там другие шатаются.

В лунном отсвете синем
Страшно встретиться с ряженым!
Мы друг друга окинем
Взором чуждым, неслаженным.

Самого себя жутко.
Я — не я? Вдруг да станется?
Вдруг полночная шутка
Да навеки протянется?

1906

ГАДАНИЕ

Гадает ветренная младость...

Пушкин

Ужели я, людьми покинутый,
Не посмотрю в лицо твоё?
Я ль не проверю жребий вынутый, —
Судьбы слепое острие?

И плавлю мертвенное олово.
И с тайным страхом воду лью...
Что шлет судьба? Шута ль веселого,
Собаку, гроб, или змею?

Свеча колеблет пламя красное.
Мой Рок! Лицо приблизь ко мне!
И тень бессмысленно-неясная,
Кривляясь, пляшет на стене.

〈1907〉



Все тропы проклятью преданы,
Больше некуда итти.
Словно много раз изведаны
Непройденные пути!

Словно спеты в день единственный
Песни все и все мольбы...
Гимн любви как гимн воинственный
Не укрылся от судьбы.

Но я знаю — песня новая
Суждена и мне на миг.
Эй, гуди, доска сосновая!
Здравствуй, пьяный гробовщик!

⟨1907⟩

К ПОРТРЕТУ В ЧЕРНОЙ РАМКЕ

Послание к ***

Твои черты передо мной,
Меж двух свечей, в гробу черном.
Ты мне мила лицом склоненным
И лба печальной белизной.

Ты вдалеке, но мне мила
Воспоминаньем тайных пыток...
Моей судьбы унылый свиток
Ты развернула и прочла.

Как помню дни и вечера!
Нешадно нас сжимали звенья, —
Но не свершились дерзновенья,
Моя печальная сестра!

Опять вокруг ночная глушь,
И «неизменно все, как было»,
Вновь отвратил свое кормило
Сребролюбивый возчик душ.

Случайный призрак отошел,
И снова нами время правит,
И ждет, когда судьба заставит
Отдать решительный обол...

Твои черты передо мной,
Меж двух свечей, во гробе черном.
Ты мне мила лицом покорным
И лба холодной белизной.

〈1907〉

НОЧИ

Сергею Кречетову

Чуть воют псы сторожевые.
Сегодня там же, где вчера,
Кочевий скудных дети злые,
Мы руки греем у костра.

И дико смотрит исподлобья
Пустых ночей глухая сонь.
В дыму рубиновые хлопья,
Свистя, гремя, кружит огонь.

Молчит пустыня. В даль без звука
Колючий ветер гонит прах, —
И наших песен злая скука
Язвя кривится на губах...

Чуть воют псы сторожевые.

⟨1907⟩



Опять во тьме. У наших ног
Простертых тел укромный шорох,
Неясный вскрик, несмелый вздох
И затаенный страх во взорах.

Опять сошлись. Для ласк и слез,
Для ласк и слез, — увы, не скрытых!
Кто чашу скорбную вознес,
Бокал томлений неизбытых?

Кто опрокинул надо мной
Полночных мук беззвездный купол,
И в этот кубок чьей рукой
Подлит отравы малый скрупул?

Ужели бешенная злость
И мне свой уксус терпкий бросит?
И снова согнутая трость
Его к устам, дрожа, подносит?

Увы, друзья, не отойду!
Средь ваших ласк, — увы, не скрытых —
Еще покорней припаду
К бокалу более неизбытых...

Пылай, печальное вино!
Приму тебя как знак заветный,
Когда в туманное окно
Заглянет сумрак предрассветный.

〈1907〉

КУЗИНА

ЗАРНИЦА

Когда, безгромно вспыхнув, молния
Как птица глянет с вышины,
Я затаенней и безмолвнее
Целую руки Тишины.

Когда серебряными перьями
Блеснет в глаза, пахнет в лицо,
Над ослепленными деревьями
Взметнет зеленое кольцо, —

Я вспоминаю: мне обещаны —
Последний, примиренный день,
И в небе огненные трещины,
И озаренная сирень.

И мнится: сердце выжжет молния,
Развеет боль, сотрет вины, —
И все покорней, все безмолвнее
Целую руки Тишины.

〈1907〉

ЗВЕЗДА

Восходи, вставай, звезда,
Выгибай дугу над прудом!
В миг рассечена вода
Неуклонным изумрудом.

Ты, взнесенная свеча,
Тонким жалом небо лижешь,
Вкруг зеленого меча
Водяные кольца движешь.

Ты вольна! Ведь только страсть
Неизменно цепи множит!
Если вздумаешь упасть, —
Удержать тебя кто может?

Лишь мгновенная струя
Вспыхнет болью расставанья.
В этот миг успею ль я
Прошептать мои желанья?

〈1907〉

СТИХИ О КУЗИНЕ

Mädchen mit dem roten Mündchen.
Heinrich Heine*

I

ОНА

Как неуверенно-невинна
Ее замедленная речь!
И поцелуи у жасмина!
И милая покатость плеч!

Над взором ласковым и нежным
Легко очерченная бровь, —
И вот опять стихом небрежным
Поэт приветствует любовь.

〈1907〉

* Девочка с алыми губками. Генрих Гейне. — *Ред.*

II

СТАРИННЫЕ ДРУЗЬЯ

...Заветный хлам витий.

Валерий Брюсов

О, милые! Пурпурный мотылек
Над чашечкой невинной повилика,
Лилейный стан и звонкий ручеек, —
Как ласковы, как тонки ваши лики!

В весенний день — кукушки дальней клики,
Потом — луной овеянный восток,
Цвет яблони и аромат клубники!
Ваш мудрый мир как нежен и глубок!

Благословен ты, рокот соловьиный!
Как хорошо опять, еще, еще
Внимать тебе с таинственной кузиной,

Шептать стихи, волнуясь горячо,
И в темноте, над дремлющей куртиной,
Чуть различать склоненное плечо!

⟨1907⟩

III

ВОСПОМИНАНИЕ

Сергею Ауслендеру

Все помню: день и час, и миг,
И хрупкой чаши звон хрустальный,
И темный сад, и лунный лик,
И в нашем доме топот бальный.

Мы подошли из темноты
И в окна светлые следили:
Четыре пестрые черты, —
Шеренги ровные кадрили...

У освещенного окна
Темнея тонким силуэтом,
Ты, поцелуем смущена,
Счастливым медлила ответом.

И вдруг — ты помнишь? — блеск и гром,
И крупный ливень, чаще, чаще,
И мы таимся под окном,
И поцелуи — глубже, слаще...

А после — бегство в темноту,
Я за тобой, хранитель зоркий;
Мгновенный ветер на лету
Взметнул кисейные оборки.

Летим домой, быстрее, быстрее,
И двери хлопают со звоном.
В блестящей зале, средь гостей,
Немножко странно и светло нам...

Стоишь с улыбкой на устах,
С приветом ласково-жеманным,
И только капли в волосах
Горят созвездием неожиданным.

⟨1907⟩

IV

КУЗИНА ПЛАЧЕТ

Кузина, полно... Все изменится!
Пройдут года, как нежный миг,
Янтарной тучкой боль пропенится
И окропит цветник.

И вот, в такой же вечер тающий,
Когда на лицах рдяный свет,
К тебе, задумчиво вздыхающей,
Вернется твой поэт.

Поверь судьбе. Она не строгая,
Она берет — и дарит вновь.
Благодарю ее за многое,
За милую любовь...

Не плачь. Ужели не отдаст она
Моим устам твои уста?
Смотри, какая тень распластана
От белого куста!

⟨1907⟩

РОМАНС

«Накинув плащ, с гитарой под полою...»
Цвети звездой, ночная синева!
Ах, я лица влюбленного не скрою,
Когда пою наивные слова.

Она скромна, проста ее одежда,
В глазах — любовь и ласковый испуг.
Не обмани, последняя надежда,
Не обмани, пожатые робких рук!

Она тиха, влюбленная голубка.
Поможет ночь любовной ворожке.
В который раз на дно хмельного кубка
Бросаю скорбь и память — о тебе!

Не уловить доверчивому взгляду
В моем лице восторженную ложь.
**«Иль может быть, услышав серенаду,
Ты из нее хоть что-нибудь поймешь?»**

Я прожил годы в боли неизменной.
Шутя пою наивные слова,
«Но песнь моя есть фимиам священный!»
Благослови, ночная синева!

〈1907〉

ПОЭТ

Элегия

Не радостен апрель. Вода у берегов
Неровным льдом безвременно одета.
В холодном небе — стаи облаков
Слезливо-пепельного цвета...
Ах, и весна, воспетая не мной
(В румянах тусклых дряхлая кокетка!),
Чуть приоткрыла полог заревой, —
И вновь дождя нависла сетка.

Печален день, тоскливо плачет ночь,
Как плеск стихов унылого поэта:
Ему весну велели превозмочь
Для утомительного лета...
**«Встречали ль вы в пустынной тьме лесной
Певца любви, певца своей печали?»**
О, много раз встречались вы со мной,
Но тайных слез не замечали.

⟨1907⟩



Вечер холодно-весенний
Застыл в безнадежном покое.
Вспыхнули тоньше, мгновенней
Колючки рассыпанной хвои.

Насыпи, рельсы и шпалы,
Извивы железной дороги...
Я, просветленный, усталый,
Не думаю больше о Боге.

На мост всхожу, улыбаясь,
Мечтаю о милом, о старом...
Поезд, гремя и качаясь,
Обдаст меня ветром и паром.

⟨1907⟩

ВЕЧЕРОМ СИНИМ

Вечерних окон свет жемчужный
Застыл, недвижимый, на полу,
Отбросил к лицам блеск ненужный
И в сердце заострил иглу.

Мы ограждались тяжким рядом
Людей и стен — и вновь, и вновь
Каким неотвратимым взглядом,
Язвящим жалом, тонким ядом
Впилась усталая любовь!

Слова и клятвы, и объятья
Какой замкнули тесный круг,
И в ненавидящем пожатьи
Как больно, больно — пальцам рук!

Но нет, молчанья не нарушим,
Чтоб клясть судьбу твою, мою,
Лишь молча, зубы стиснув, душим
Опять подкравшуюся к душам
Любовь — вечернюю змею.

〈1907〉



За окном гудит метелица,
Снег взметает на крыльцо.
Я играю — от бездельца —
В обручальное кольцо.

Старый кот, по стульям лазая,
Выгнул спину и молчит.
За стеной метель безглазая
Льдяным посохом стучит.

Ночи зимние! Кликуши вы,
В очи вам боюсь взглянуть...
Медвежонок, сын мой плюшевый,
Свесил голову на грудь.

〈1907〉

КОЛЬЦА

1

Я тебя провожаю с поклоном,
Возвращаю в молчаньи кольцо.
Только ветер настойчивым стоном
Вызывает тебя на крыльцо.

Ты уходишь в ночную дорогу,
Не боясь, не дрожа, не смотря.
Ты доверилась темному богу?
Не возьмешь моего фонаря?

Провожу тебя только поклоном.
Ожесточено сердце твое!..
Ах, в часовне предутренним звоном
Отмечается горе мое.

〈1907〉

2.

Велишь — молчу. Глухие дни настали!
В последний раз ко мне приходишь ты.
Но различу за складками вуали
Без милой маски — милые черты.

Иди, пляши в бесстыдствах карнавала,
Твоя рука без прежнего кольца, —
И Смерть вольна раскинуть покрывало
Над ужасом померкшего лица.

〈1907〉

PASSIVUM

Листвой засыпаны ступени...
Луг потускнелый гладко скошен...
Бескрайним ветром в бездну взброшен,
День отлетел, как лист осенний.

Итак, лишь нитью, тонким стеблем,
Он к жизни был легко прицеплен!
В моей душе огонь затеплен,
Неугасим и неколеблем.

〈1907〉



Мои слова печально кротки.
Перебирает Тишина
Все те же медленные четки,
И облик давний, нежно-кроткий,
Опять недвижим у окна.

Я снова тих и тайно-весел...
За дверью нашей — Тишина.
Я прожил дни, но годы взвесил,
И вот как прежде — тих и весел,
Ты — неподвижна у окна.

И если я тебя окликну,
Ответом будет Тишина,
Но я к руке твоей приникну
И если вновь тебя окликну —
Ты улыбнешься у окна!

〈1907〉

ЗА СНЕГАМИ

Елка выросла в лесу.
Елkich с шишкой на носу.
Ф.Сологуб

Наша елка зажжена.
Здравствуй, вечер благовонный!
Ты опять бела, бледна,
Ты бледней царевны сонной.

Снова сердцу суждена
Радость мертвенная боли.
Наша елка зажжена:
Светлый знак о смертной доле.

Ты стройна, светла, бледна,
Ты убьешь рукой невинной...
Наша елка зажжена.
Здравствуй, вечер, тихий, длинный...

Хорошо в моей тиши!
Сладки снежные могилы!
Елkich, милый, попляши!
Елkich, милый, милый, милый.

〈1907〉



Время легкий бисер нижет:
Час за часом, день ко дню...

Не с тобой ли сын мой прижит? —
Не тебя ли хороню?

Время жалоб не услышит!
Руки вскину к синеве, —

А уже рисунок вышит
На исколотой канве.

〈1907〉

ЦВЕТКУ ИВАНОВОЙ НОЧИ

Я до тебя не добреду,
Цветок нетленный, цвет мой милый,
Я развожу огонь в саду,
Огонь прощальный и унылый.

Цвети во тьме, лелея клад!
Тебя лишь ветер вольно склонит,
Да волк, блуждая наугад,
Хвостом ленивым тихо тронет.

В лесу, пред ликом темноты,
Не станешь ты ничьей добычей.
Оберегут тебя цветы,
Да шум сосны, да окрик птичий...

А я у дымного костра
Сжигаю все, что было мило,
Огня бессонная игра
Лицо мне болью оттенила.

Но та же ночь, что сердце жмет
В неумолимых тяжких лапах,
Мне как святыню донесет
Твой несказанный, дальний запах.

И жду. Рассветный ветерок
Золу рассыплет, дым разгонит,
Я брошу в озеро венки,
И как он медленно потонет!

⟨1907⟩

ПРОЛОГ
НЕОКОНЧЕННОЙ ПЬЕСЫ

Андрею Белому

Самая хмельная боль — Безднадежность,
Самая строгая повесть — Любовь.
В сердце Поэта за горькую нежность
С каждым стихом проливалась кровь.

Жребий поэтов — бичи и распятья.
Каждый венчался терновым венцом.
Тот, кто слагал вам стихи про объятья,
Их разомкнул и упал — мертвецом!

Будьте спокойны! — все тихо свершится.
Не уходите! — не будет стрельбы.
Должен, быть может, слегка уклониться
Слишком уверенный шаг Судьбы.

В сердце Поэта за горькую нежность
Темным вином изливается кровь...
Самая хмельная боль — Безднадежность,
Самая строгая повесть — Любовь!

⟨1907⟩

СЧАСТЛИВЫЙ ДОМИК

Жене моей Анне

ПЛЕННЫЕ ШУМЫ

ЭЛЕГИЯ

Взгляни, как наша ночь пуста и молчалива:

Осенних звезд задумчивая сеть

Зовет спокойно жить и мудро умереть, —

Легко сойти с последнего обрыва

В долину кроткую.

Быть может, там ручей,

Еще кипя, бежит от водопада,

Поет свирель, вдали пестреет стадо,

И внятно шелканье пастушеских бичей.

Иль, может быть, на берегу пустынном

Задумчивый и ветхий рыболов,

Едва оборотясь на звук моих шагов,

Движением внимательным и чинным

Забросит вновь прилежную уду...

Страна безмолвия! Безмолвно отойду

Туда, откуда дождь, прохладный и привольный,

Бежит, шумя, к долине безглагольной...

Но может быть — не кроткою весной,

Не мирным отдыхом, не сельской тишиной,

Но памятью мятежной и живой

Дохнет сей мир — и снова предо мной...

И снова ты! а! страшно мысли той!

Блистательная ночь пуста и молчалива.

Осенних звезд мерцающая сеть

Зовет спокойно жить и умереть.

Ты по росе ступаешь боязливо.

1908

УЩЕРБ

Какое тонкое терзание —
Прозрачный воздух и весна,
Ее цветочная волна,
Ее тлетворное дыханье!

Как замирает голос дальний,
Как узок этот лунный серп,
Как внятно говорит ущерб,
Что нет поры многотрадальной!

И даже не блеснет гроза
Над этим напряженным раем, —
И обессилив, мы смежаем
Вдруг потускневшие глаза.

И все бледнее губы наши,
И смерть переполняет мир,
Как расплеснувшийся эфир
Из голубой небесной чаши.

1911



Когда почти благоговейно
Ты указала мне вчера
На девушку в фате кисейной
С студентом под руку, — сестра,

Какую горестную скуку
Я пережил, глядя на них!
Как он блаженно жал ей руку
В аллеях темных и пустых!

Нет, не пленяйся взором лани
И вздохов томных не лови.
Что нам с тобой до их мечтаний,
До их неопытной любви?

Смешны мне бедные волненья
Любви невинной и простой.
Господь нам не дал примиренья
С своей цветущею землей.

Мы дышим легче и свободней
Не там, где есть сосновый лес,
Но древним мраком преисподней
Иль горним воздухом небес.

1913

ЗИМА

Как перья страуса на черном катафалке,
Колышутся фабричные дымы.
Из черных бездн, из предрассветной тьмы
В иную тьму несутся с криком галки.
Скрипит обоз, дыша морозным паром,
И с лесенкой на согнутой спине
Фонарщик, юркий бес, бежит по тротуарам...
О, скука, тощий пес, взывающий к луне!
Ты — ветер времени, свистящий в уши мне!

1913



В тихом сердце — едкий пепел,
В темной чаше — тихий сон.
Кто из темной чаши не пил,
Если в сердце — едкий пепел,
Если в чаше — тихий сон?

Все ж вина, что в темной чаше,
Сладким зельем не зови.
Жаждет смерти сердце наше, —
Но, склонясь над общей чашей,
Уст улыбкой не криви!

Пей, да помни: в сердце — пепел,
В чаше — долгий, долгий сон!
Кто из темной чаши не пил,
Если в сердце тайный пепел,
Если в чаше — тихий сон?

1908

МАТЕРИ

Мама! хоть ты мне откликнись и выслушай: больно
Жить в этом мире! Зачем ты меня родила?
Мама! Быть может, все сам погубил я навеки, —
Да, но за что же вся жизнь — как вино,
 как огонь, как стрела?

Стыдно мне, стыдно с тобой говорить о любви,
Стыдно сказать, что я плачу о женщине, мама!
Больно тревожить твою безутешную старость
Мукой души ослепленной, мятежной и лживой!
Страшно признаться, что нет никакого мне дела
Ни до жизни, которой меня ты учила,
Ни до молитв, ни до книг, ни до песен.
Мама, все я забыл! Все куда-то исчезло,
Все растерялось, пока, палимый вином,
Бродил я по улицам, пел, кричал и шатался.
Хочешь одна узнать обо мне всю правду?
Хочешь — признаюсь? Мне нужно совсем не много:
Только бы снова изведать ее поцелуи,
(Тонкие губы с полосками рыжих румян!)
Только бы снова воскликнуть: Царевна! Царевна! —
И услышать в ответ: Навсегда.

Добрая мама! Надень-ка ты старый салопчик,
Да пойди, помолись Ченстоховской
О бедном сыне своем
И о женщине с черным бантом!

1910

ЗАКАТ

В час, когда пустая площадь
Желтой пылью повита,
В час, когда бледнеют скорбно
Истомленные уста, —
Это ты вдали проходишь
В круге красного зонта.

Это ты идешь, не помня
Ни о чем и ни о ком,
И уже тобой томятся
Кто знаком и не знаком, —
В час, когда зажегся купол
Тихим, теплым огоньком.

Это ты в невинный вечер
Слишком пышно завита,
На твоих щеках ложатся
Лиловатые цвета, —
Это ты качаешь нимбом
Нежно-красного зонта!

Знаю: ты вольна не помнить
Ни о чем и ни о ком,
Ты падешь на сердце легким,
Незаметным огоньком, —
Ты как смерть вдали проходишь
Алым, летним вечерком!

Ты одета слишком нежно,
Слишком пышно завита,
Ты вдали к земле склоняешь

Круг атласного зонта, —
Ты меня огнем целуешь
В истомленные уста!

1908



Увы, дитя! Душе неутоленной
Не снишься ль ты невыразимым сном?
Не тенью ли проходишь омраченной
С букетом роз, кинжалом и вином?

Я каждый шаг твой зорко стерегу.
Ты падаешь, ты шепчешь, — я рыдаю,
Но горьких слов расслышать не могу
И языка теней не понимаю.

1909

ДУША

О, жизнь моя! За ночью — ночь. И ты, душа,
 не внемлешь миру.
Усталая! К чему влачить усталую свою порфиру?

Что жизнь? Театр, игра страстей, бряцанье шпаг
на перекрестках,
Миганье ламп, игра теней, игра огней
на тусклых блестках.

К чему рукоплескать шутам? Живи на берегу угрюмом.
Там, раковины приложив к ушам, внемли
 пленным шумам, —
Проникни в отдаленный мир: глухой старик
 ворчит сердито,
Ладья скрипит, шумит весло, да вопли —
 с берегов Коцита.

1909

ВОЗВРАЩЕНИЕ ОРФЕЯ

О, пожалейте бедного Орфея!
Как скучно петь на плоском берегу!
Отец, взгляни сюда, взгляни, как сын, слабея,
Еще сжимает лирную дугу!

Еще ручки лепечут непрерывно,
Еще шумят нагорные леса,
А сердце замерло и внемлет безотзывно
Послушных струн глухие голоса.

И вот пою, пою с последней силой
О том, что жизнь пережита вполне,
Что Эвридики нет, что нет подруги милой,
А глупый тигр ласкается ко мне.

Отец, отец! Ужель опять, как прежде,
Пленять зверей да камни чаровать?
Иль песнью новою, без мысли о надежде,
Детей и дев к печали приучать?

Пустой души пустых очарований
Не победит ни зверь, ни человек.
Несчастен, кто несет Коцитов дар стений
На берега земных веселых рек!

О, пожалейте бедного Орфея!
Как больно петь на вашем берегу!
Отец, взгляни сюда, взгляни, как сын, слабея,
Еще сжимает лирную дугу!

1909

ГОЛОС ДЖЕННИ

А Эдмонда не покинет
Дженни даже в небесах.

Пушкин

Мой любимый, где ж ты коротаешь
Сиротливый век свой на земле?
Новое ли поле засеваешь?
В море ли уплыл на корабле?

Но вдали от нашего селенья,
Друг мой бедный, где бы ни был ты,
Знаю тайные твои томленья,
Знаю сокровенные мечты.

Полно! Для желанного свиданья,
Чтобы Дженни вновь была жива,
Горестные нужны заклинанья,
Слишком безутешные слова.

Чтоб явился призрак, еле зримый,
Как звезды упавшей беглый след,
Может быть, и в сердце, мой любимый,
У тебя такого слова нет!

О, не кличь бессильной, скорбной тени,
Без того мне вечность тяжела!
Что такое вечность? Это Дженни
Видит сон родимого села.

Помнишь ли, как просто мы любили,
Как мы были счастливы вдвоем?
Ах, Эдмонд, мне снятся и в могиле
Наша нива, речка, роща, дом!

Помнишь — вечер, у скамьи садовой
Наших деток легкие следы?
Нет меня — дели с подругой новой
День и ночь, веселье и труды!

Средь живых ищи живого счастья,
Сей и жни в наследственных полях.
Я тебя земной любила страстью,
Я тебе земных желаю благ.

1912



Века, протекшие над миром,
Протяжным голосом теней
Еще вызывают к нашим лирам
Из-за стигийских камышей.

И мы, заслышав стон и скрежет,
Ступаем на орфеев путь,
И наш напев, как солнце, нежит
И остывающую грудь.

Былых волнений воскреситель,
Несет теньям любой из нас
В их безутешную обитель
Свой упоительный рассказ.

В беззвездном сумраке Эреба,
Вокруг певца сплотясь тесней,
Родное вспоминает небо
Хор воздыхающих теней.

Но горе! Мы порой дерзаем
Все то в напевы лир влагать,
Чем собственный наш век терзаем,
На чем легла его печать.

И тени слушают недвижно,
Подняв углы высоких плеч,
И мертвым предкам непостижна
Потомков суетная речь.

1912



Жеманницы былых годов,
Читательницы Ричардсона!
Я посетил ваш ветхий кров,
Взглянул с высокого балкона

На дальние луга, на лес,
И сладко было мне сознание,
Что мир ваш навсегда исчез,
И с ним его очарование.

Что больше нет в саду цветов,
В гостиной — нот на клавесине
И вечных вздохов стариков
О матушке-Екатерине.

Рукой не прикоснулся я
К томам библиотеки пыльной,
Но радостен был для меня
Их запах, затхлый и могильный.

Я думал: в грустном сем краю
Уже пол-века все пустует.
О, пусть отныне жизнь мою
Одно грядущее волнует!

Блажен, кто средь разбитых урн,
На неоводеланной куртине,
Прославит твой полет, Сатурн,
Сквозь многозвездные пустыни!

1912

Л А Р Ы



Когда впервые смутным очертаньем
Возникли вдалеке верхи родимых гор,
Когда ручей знакомым лепетаньем
Мне ранил сердце — руки я простер,
Закрыв глаза и слушал, потрясенный,
Далекий топот стад и вольный клет орла,
И мнилось — внятны мне, там, в синеве бездонной,
Удары мощные упругого крыла.
Как яростно палило солнце плечи!
Как сладостно звучали из лугов
Вы, жизни прежней милые предтечи,
Свирели стройные соседних пастухов!
И так до вечера, в волненьи одиноком,
Склонив лицо, я слушал шум земной,
Когда ж открыл глаза — торжественным потоком
Созвездия катились надо мной.

1911

К МУЗЕ

Я вновь перечитал забытые листы,
Я воскресил угасшее волнение,
Передо мной опять предстала ты,
Младенчества прекрасное виденье.
В былые дни, как нежная подруга,
Являлась ты под кров счастливый мой
Делить часы священного досуга.
В атласных туфельках, с девической косой,
С улыбкой розовой, и легкой, и невинной,
Ты мне казалась близкой и родной,
И я шутя назвал тебя кузиной.
О муза милая! Припомни тихий сад,
Тумана сизого вечерние куренья,
И тополей прохладный аромат,
И первые уроки вдохновенья!
Припомни все: жасминные кусты,
Вечерние мечтательные тени,
И лунный серп, и белые цветы
Над озером склонявшейся сирени...
Увы, дитя! Я жаждал наслаждений,
Я предал все: на шумный круг друзей
Я променял священный шум дубравы,
Венок твой лавровый, залог любви и славы,
Я, безрассудный, снял с главы своей —
И вот стою один среди теней,
Разуверение — советчик мой лукавый,
И вечность — как кинжал над совестью моей!

1910

СТАНСЫ

Святыня меркнувшего дня,
Уединенное презренье,
Ты стало посещать меня,
Как посещало вдохновенье.

Живу один, зову игрой
Слова романсов, письма, встречи,
Но горько вспоминать порой
Свои лирические речи!

Но жаль невозвратимых дней,
Сожженных дерзко и упрямо, —
Душистых зерен фимиама
На пламени души моей.

О, радости любви простой,
Утехи нежных обольщений!
Вы величавей, вы священной
Величия души пустой...

И хочется упасть во прах,
И хочется молиться снова,
И новый мир создать в слезах,
Во всем — подобие былого.

1908

В АЛЬБОМ

Вчера под вечер веткой туи
Вы постучали мне в окно.
Но я не верю в поцелуи
И страсти не люблю давно.

В холодном сердце созидаю
Простой и нерушимый храм...
Взгляните: пар над чашкой чаю!
Какой прекрасный фимиам!

Но внемля утро, щебет птичий,
За озером далекий гром,
Кто б не почтил призыв девичий
Улыбкой, розой и стихом?

1909

ПОЭТУ

Со колчаном вьется мальчик,
С позлащенным легким луком.

Державин

Ты губы сжал и горько брови сдвинул,
А мне смешна печаль твоих красивых глаз.
Счастлив поэт, которого не минул
Банальный миг, воспетый столько раз!

Ты кличешь смерть — а мне смешно и нежно:
Как мил изменницей покинутый поэт!
Предчувствую написанный прилежно,
Мятежных слов исполненный сонет.

Пройдут года. Как сон, тебе приснится
Минувших горестей невозвратимый хмель.
Придет пора вздохнуть и умилиться:
Над чем рыдала детская свирель!

Люби стрелу блистательного лука.
Жестокой шалости, поэт, не прекословь!
Нам всем дается первая разлука,
Как первый лавр, как первая любовь.

1908

АКРОБАТ

(НАДПИСЬ К СИЛУЭТУ)

От крыши до крыши протянут канат.
Легко и спокойно скользит акробат.

В руках его — палка, он весь — как весы,
А зрители снизу задрали носы.

Толкаются, шепчут: «Сейчас упадет!» —
И каждый чего-то взволнованно ждет.

Направо — старушка глядит из окна,
Налево — гуляка с бокалом вина.

Но небо прозрачно, и прочен канат.
Легко и спокойно идет акробат...

1913

ДОЖДЬ

Я рад всему: что город вымок,
Что крыши, пыльные вчера,
Сегодня, ясным шелком лоснясь,
Свергают струи серебра.

Я рад, что страсть моя иссякла.
Смотрю с улыбкой из окна,
Как быстро ты проходишь мимо
По скользкой улице, одна.

Я рад, что дождь пошел сильнее,
И что в чужой подъезд зайдя,
Ты опрокинешь зонтик мокрый
И отряхнешься от дождя.

Я рад, что ты меня забыла,
Что выйдя из того крыльца,
Ты на окно мое не взглянешь,
Не вскинешь на меня лица.

Я рад, что ты проходишь мимо,
Что ты мне все-таки видна,
Что так прекрасно и невинно
Проходит страстная весна.

1908

МИЛОМУ ДРУГУ

Ну, поскрипи, сверчок! Ну, спой, дружок запечный!
Дружок сердечный, спой! Послушаю тебя —
И может быть с улыбкою беспечной
Припомню все: и то, как жил любя,

И то, как жил потом, счастливые волненья
В душе измученной похоронив навек, —
А там, глядишь, усну под это пенье.
Ну, поскрипи! Сверчок да человек —

Друзья заветные: у печки, где потепле,
Живем себе, живем, скрипим себе, скрипим,
И стынет сердце (уголь в сизом пепле),
И все бывшее — призрак, отзвук, дым!

Для жизни медленной, безропотной, запечной
Судьба заботливо соединила нас.
Так пой, скрипи, шурши, дружок сердечный,
Пока огонь последний не погас!

1911

МЫШИ

1

ВОРОЖБА

Догорел закат за речкой.
Загорелись три свечи.
Стань, подруженька, за печкой,
Трижды ножкой постучи.

Пусть опять на зов твой мыши
Придут вечер коротать.
Только нужно жить потише,
Не шуметь и не роптать.

Есть предел земным томленьям,
Не горюй и слез не лей.
С чистым сердцем, с умилением
Дорогих встречай гостей.

В сонный вечер, в доме старом,
В круге зыбкого огня
Помолись-ка нашим Ларам
За себя и за меня.

Свечи гаснут, розы вянут,
Даже песне есть конец, —
Только мыши не обманут
Истомившихся сердец.

1913

2

СЫРНИКУ

Милый, верный Сырник, друг незаменимый,
Гость, всегда желанный в домике моем!
Томно веют весны, долго длятся зимы, —
Вечно я тоскую по тебе одном.

Знаю: каждый вечер робко скрипнет дверца,
Прошуршат обои — и приходишь ты
Ласковой беседой веселить мне сердце
В час отдохновенья, мира и мечты.

Ты не разделяешь слишком пылких бредней,
Любишь только сыр, швейцарский и простой,
Редко ходишь дальше кладовой соседней,
Учишь жизни ясной, бедной и святой.

Заведу ли речь я о Любви, о Мире —
Ты свернешь искусно на любимый путь:
О делах подпольных, о насущном сыре, —
А в окно струится голубая ртуть...

Друг и покровитель, честный собеседник,
Стереги мой домик до рассвета дня...
Дорогой учитель, мудрый проповедник,
Обожатель сыра, — не оставь меня!

1913

3

МОЛИТВА

Все былые страсти, все тревоги
Навсегда забудь и затаи...
Вам молюсь я, маленькие боги,
Добрые хранители мои.

Скромные примите приношенья:
Ломтик сыра, крошки со стола...
Больше нет ни страха, ни волненья:
Счастье входит в сердце, как игла.

1913

ЗВЕЗДА НАД ПАЛЬМОЙ



За окном — ночные разговоры,
Сторожей певучие скребки.
Плотные спусти, Темира, шторы,
Прочитай мне про моря, про горы,
Про таверны, где в порыве ссоры
Нож с ножом скрещают моряки.

Пусть опять селенья жгут апахи,
Угоняя тучные стада,
Пусть блещут в стремительном размахе
Томагавки, копья и навахи, —
Пусть опять прихлынут к сердцу страхи,
Как в былые, детские года!

Я устал быть нежным и счастливым!
Эти песни, ласки, розы — плен!
Ах, из роз люблю я сердцем лживым
Только ту, что жжет огнем ревнивым,
Что зубами с голубым отливом
Прикусила хитрая Кармен!

〈1913 ?〉

ПОРТРЕТ

Царевна ходит в красном кумаче,
Румянит губы ярко и задорно,
И от виска на поднятом плече
Ложится бант из ленты черной.

Царевна душится изнеженно и пряно,
И любит смех и шумный балаган, —
Но что же делать, если сердце пьяно
От поцелуев и румян?

1911

ПРОГУЛКА

Хорошо, что в этом мире
Есть магические ночи,
Мерный скрип высоких сосен,
Запах тмина и ромашки
И луна.

Хорошо, что в этом мире
Есть еще причуды сердца,
Что царевна, хоть не любит,
Позволяет прямо в губы
Целовать.

Хорошо, что словно крылья
На серебряной дорожке,
Распластался тонкой тенью,
И колышется, и никнет
Черный бант.

Хорошо с улыбкой думать,
Что царевна (хоть не любит!)
Не забудет ночи лунной,
Ни меня, ни поцелуев —
Никогда!

1910

ДОСАДА

Что сердце? Лань. А ты стрелок, царевна.
Но мне не пасть от полудетских рук,
И промахнувшись, горестно и гневно
Ты опускаешь неискусный лук.

И целый день обиженная бродишь
Над озером, где ветер и камыш,
И резвых игр, как прежде, не заводишь,
И песнями подруг не веселишь.

А день бежит, и доцветают розы
В вечерний, лунный, в безысходный час, —
И, может быть, рассерженные слезы
Готовы хлынуть из огромных глаз.

1911

УСПОКОЕНИЕ

Сладко жить в твоей, царевна, власти,
В круге пальм, и вишен, и причуд.
Ты как пена над бокалом Асти,
Ты — небес прозрачный изумруд.

День пройдет, сокроет в дымке знойной
Смуглые, ленивые черты, —
Тихий вечер мирно и спокойно
Сыплет в море синие цветы.

Там, внизу, звезда дробится в пене,
Там, вверху, темнеет сонный куст.
От морских прозрачных испарений
Солоны края румяных уст...

И душе не страшно расставанье —
Мудрый дар играющих богов.
Мир тебе, священное сиянье
Лигурийских звездных вечеров.

Генуя, 1911.

ЗАВЕТ

Благодари богов, царевна,
За ясность неба, зелень вод,
За то, что солнце ежедневно
Свой совершает оборот;

За то, что тонким изумрудом
Звезда скатилась в камыши,
За то, что нет конца причудам
Твоей изменчивой души;

За то, что ты, царевна, в мире
Как роза дикая цветешь
И лишь в моей, быть может, лире
Свой краткий срок переживешь.

1912

ФЕВРАЛЬ

Этот ветер, еще не весенний,
Но какой-то уже и не зимний...
Что ж ты медлишь, весна? Вдохновенней,
Ты, влюбленных сердец Полигимния!

Не воскреснуть минувшим волнениям
Голубых, предвечерних свиданий, —
Но над каждым сожженным мгновеньем
Возникает, как Феникс, — предание.

1913

БЕГСТВО

Да, я бежал, как трус, к порогу Хлои стройной,
Внимая брань друзей и персов дикий вой,
И все-таки горжусь: я, воин недостойный,
 Всех превзошел завидной быстротой.

Счастливцев! я сложил у двери потаенной
Доспехи тяжкие: копье, и щит, и меч.
У ложа сонного, разнеженный, влюбленный,
Хламиду грубую бросаю с узких плеч.

Вот счастье: пить вино с подругой темноокой
И ночью, пробудясь, увидеть над собой
Глаза звериные с туманной поволокой,
Ревнивый слышать зов: ты мой? ужели мой?

И целый день потом с улыбкой простодушной
За Хлоей маленькой бродить по площадям,
Внимая шепоту: ты милый, ты послушный,
 Приди еще, — я все тебе отдам!

1911

СИТЦЕВОЕ ЦАРСТВО

1

По вечерам мечтаю я.
(Мечтают все, кому не спится.)
Мне грезится любовь твоя,
Страна твоя, где все — из ситца.

Высокие твои дворцы,
Задрапированные залы,
Твои пажы, твои льстецы,
Твой шут, унылый и усталый.

И он, как я, издалека
День целый по тебе томится.
Под вечер белая рука
На пестрый горб легко ложится.

Тогда из уст его, как дым,
Струятся ситцевые шутки, —
И падают к ногам твоим
Горошинки да забывудки.

В окне — далекие края:
Холмы, леса, поля — из ситца...
О, скромная страна твоя!
О, милая моя царица!

О, вечер синий! Звездный свет
Дрожит в твоём прекрасном взоре,
И кажется, что я — поэт,
Воспевший ситцевые зори...

Так сладостно мечтаю я
По вечерам, когда не спится...
О, где ты, милая моя?
Где нежная моя царица?

〈1909〉

2

К большому подойдя окну,
Ты плачешь, бедная царица.
Окутали твою страну
Полотнища ночного ситца.

Выходишь на пустой балкон,
Повитый пеленой тумана.
Безгласен неба синий склон.
Жасмин благоухает пряно.

Ты комкаешь платок в руке,
Сверкает, точно нож, зарница —
И заунывно вдалеке
Курлыкает ночная птица.

И плачешь, уронив венец.
Твой шут, щадя покой любимой,
Рукой зажавши бубенец,
На цыпочках проходит мимо.

Раздвинул пестрым колпаком
Росой пропитанные ситцы
И спрятался. Как знать, о чем
Предутренняя грусть царицы?

1909

ВЕЧЕР

Красный Марс восходит над агавой,
Но прекрасней светят нам они —
Генуи, в былые дни лукавой,
Мирные, торговые огни.

Меркнут гор прибрежные отроги,
Пахнет пылью, морем и вином.
Запоздалый ослик на дороге
Торопливо плещет бубенцом...

Не в такой ли час, когда ночные
Небеса синели надо всем,
На таком же ослике Мария
Покидала тесный Вифлеем?

Топотали частые копыта,
Отставал Иосиф, весь в пыли...
Что еврейке бедной до Египта,
До чужих овец, чужой земли?

Плачет мать. Дитя под черной тальмой
Сонными губами ищет грудь,
А вдали, вдали звезда над пальмой
Беглецам указывает путь.

1913

РАЙ

Вот, открыл я магазин игрушек:
Ленты, куклы, маски, мишура...
Я заморских, плюшевых зверюшек
Завожу в витрине с раннего утра.

И с утра толпятся у окошка
Старички, старушки, детвора...
Весело — и грустно мне немножко:
День за днем, сегодня как вчера.

Заяц лапкой бьет по барабану,
Бойко пляшут мыши впятером.
Этот мир любить не перестану,
Хорошо мне в сумраке земном!

Хлопья снега вьются за витриной
В жгучем свете желтых фонарей...
Зимний вечер, длинный, длинный, длинный!
Милый отблеск вечности моей!

Ночь настанет — магазин закрою,
Сосчитаю деньги (я ведь не спешу!),
И накрыв игрушки легкой кисеею,
Все огни спокойно погашу.

Долгий день припомнив, спать улягусь мирно,
В колпаке заветном, — а в последнем сне
Сквозь узорный полог, в высоте сапфирной
Ангел златокрылый пусть приснится мне.

1913

ПУТЕМ ЗЕРНА

ПУТЕМ ЗЕРНА

Проходит сеятель по ровным бороздам.
Отец его и дед по тем же шли путям.

Сверкает золотом в его руке зерно,
Но в землю черную оно упасть должно.

И там, где червь слепой прокладывает ход,
Оно в заветный срок умрет и прорастет.

Так и душа моя идет путем зерна:
Сойдя во мрак, умрет — и оживет она.

И ты, моя страна, и ты, ее народ,
Умрешь и оживешь, пройдя сквозь этот год, —

Затем, что мудрость нам единая дана:
Всему живущему идти путем зерна.

1917

СЛЕЗЫ РАХИЛИ

Мир земле вечерней и грешной!
Блещут лужи, перила, стекла.
Под дождем я иду неспешно,
Мокры плечи, и шляпа промокла.
Нынче все мы стали бездомны,
Словно вечно бродягами были,
И поет нам дождь неумный
Про древние слезы Рахили.

Пусть потомки с гордой любовью
Про дедов легенды сложат —
В нашем сердце грехом и кровью
Каждый день отмечен и прожит.
Горе нам, что по воле Божьей
В страшный час сей мир посетили!
На щеках у старухи прохожей —
Горячие слезы Рахили.

Не приму ни чести, ни славы,
Если вот, на прошлой неделе,
Ей прислали клочок кровавый
Заскорузлой солдатской шинели.
Ах, под нашей тяжелой ношей
Сколько б песен мы ни сложили —
Лишь один есть припев хороший:
Неутешные слезы Рахили!

1916

РУЧЕЙ

Взгляни, как солнце обольщает
Пересыхающий ручей
Полдневной прелестью своей, —
А он рокошет и вздыхает
И на бегу оскудевает
Средь обнажившихся камней.

Под вечер путник молодой
Приходит, песню напевая;
Свой посох на песок слагая,
Он воду черпает рукой
И пьет — в струе, уже ночной,
Своей судьбы не узнавая.

1916



Сладко после дождя теплая пахнет ночь.
Быстро месяц бежит в прорезях белых туч.
Где-то в сырой траве часто кричит дергач.

Вот, к лукавым губам губы впервые льнут.
Вот, коснувшись тебя, руки мои дрожат...
Минуло с той поры только шестнадцать лет.

1917



Адриатические волны!
О, Брента!..

Евгений Онегин

Брента, рыжая речонка!
Сколько раз тебя воспели,
Сколько раз к тебе летели
Вдохновенные мечты —
Лишь за то, что имя звонко,
Брента, рыжая речонка,
Лживый образ красоты!

Я и сам спешил когда-то
Заглянуть в твои отливы,
Окрыленный и счастливый
Вдохновением любви.
Но горька была расплата.
Брента, я взглянул когда-то
В струи мутные твои.

С той поры люблю я, Брента,
Одинокие скитанья,
Частого дождя кропанье
Да на согнутых плечах
Плащ из мокрого брезента.
С той поры люблю я, Брента,
Прозу в жизни и в стихах.

1920 <1923>

МЕЛЬНИЦА

Мельница забытая
В стороне глухой.
К ней обоз не тянется,
И дорога к мельнице
Заросла травой.

Не плеснется рыбаца
В голубой реке.
По скрипучей лесенке
Сходит мельник старенький
В красном колпаке.

Постоит, послушает, —
И грозит перстом
В даль, где дым из-за лесу
Завился веревочкой
Над людским жильем.

Постоит, послушает, —
И пойдет назад:
По скрипучей лесенке,
Поглядеть, как праздные
Жернова лежат.

Потрудились камушки
Для хлебов да каш.
Сколько было ссыпано —
Сколько было смолото,
А теперь шабаш!

А теперь у мельника —
Лес да тишина,

Да под вечер трубочка,
Да хмельная чарочка,
Да в окне луна.

1920 <1923>

АКРОБАТ
(НАДПИСЬ К СИЛУЭТУ)

От крыши до крыши протянут канат.
Легко и спокойно идет акробат.

В руках его — палка, он весь — как весы,
А зрители снизу задрали носы.

Толкаются, шепчут: «Сейчас упадет!» —
И каждый чего-то взволнованно ждет.

Направо — старушка глядит из окна,
Налево — гуляка с бокалом вина.

Но небо прозрачно, и прочен канат.
Легко и спокойно идет акробат.

А если, сорвавшись, фиגляр упадет,
И охнув, закрестится лживый народ —

Поэт, проходи с безучастным лицом:
Ты сам не таким ли живешь ремеслом?

1913 <1921>



Обо всем в одних стихах не скажешь.
Жизнь идет волшебным, тайным чередом,
Точно длинный шарф кому-то вяжешь,
Точно ждешь кого-то, не грустя о нем.

Нижутся задумчивые петли,
На крючок посмотришь — все желтеет кость,
И не знаешь, он придет ли, нет ли,
И какой он будет, долгожданный гость.

Утром ли он постучит в окошко,
Иль стопой неслышной подойдет из тьмы
И с улыбкой, страшною немножко,
Все распустит разом, что связали мы.

1915



Со слабых век сгоняя смутный сон,
Живу весь день, тревожим и волнуем,
И каждый вечер падаю, сражен
Усталости последним поцелуем.

Но и во сне душе покоя нет:
Ей снится явь, тревожная, земная,
И собственный сквозь сон я слышу бред,
Дневную жизнь с трудом припоминая.

1914



В заботах каждого дня
Живу, — а душа под спудом
Каким-то пламенным чудом
Живет помимо меня.

И часто, спеша к трамваю,
Иль над книгой лицо склоня,
Вдруг слышу ропот огня —
И глаза закрываю.

1917

ПРО СЕБЯ

I.

Нет, есть во мне прекрасное, но стыдно
Его назвать перед самим собой,
Перед людьми ж — подавно: с их обидной
Душа не примирится похвалой.

И вот — живу, чудесный образ мой
Скрыв под личиной низкой и ехидной...
Взгляни, мой друг: по травке золотой
Ползет паук с отметкой крестовидной.

Пред ним ребенок спрячется за мать,
И ты сама спешишь его согнать
Рукой брезгливой с шейки розовой.

И он бежит от гнева твоего,
Стыдясь себя, не ведая того,
Что значит знак его спины мохнатой.

1918

II.

Нет, ты не прав, я не собой пленен.
Что доброго в наемнике усталом?
Своим чудесным, божеским началом,
Смотря в себя, я сладко потрясен.

Когда в стихах, в отображеньи малом,
Мне подлинный мой образ обнажен, —
Все кажется, что я стою, склонен,
В вечерний час над водяным зеркалом,

И чтоб мою к себе приблизить высь,
Гляжу я вглубь, где звезды занялись.
Упав туда, спокойно угасает

Нечистый взор моих земных очей,
Но пламенно оттуда проступает
Венок из звезд над головой моей.

1919

СНЫ

Так! наконец-то мы в своих владеньях!
Одежду — на пол, тело — на кровать.
Ступай, душа, в безбрежных сновиденьях
Томиться и страдать.

Дорогой снов, мучительных и смутных,
Бреди, бреди, несовершенный дух.
О, как еще ты в проблесках минутных
И слеп, и глух!

Еще томясь в моем бессильном теле,
Сквозь грубый слой земного бытия
Учись дышать и жить в ином пределе,
Где ты — не я;

Где отрешен от помысла земного,
Свободен ты... Когда ж в тоске проснусь,
Соединимся мы с тобою снова
В нерадостный союз.

День изо дня, в миг пробужденья трудный,
Припоминаю я твой вещий сон,
Смотрю в окно и вижу серый, скудный,
Мой небосклон,

Все тот же двор, и мглистый, и суровый,
И голубей, танцующих на нем...
Лишь явно мне, что некий отсвет новый
Лежит на всем.

1917



О, если б в этот час желанного покоя
Закреть глаза, вздохнуть и умереть!
Ты плакала бы, маленькая Хлоя,
И на меня боялась бы смотреть.

А я три долгих дня лежал бы на столе,
Таинственный, спокойный, сокровенный,
Как золотой ковчег запечатленный,
Вмещающий всю мудрость о земле.

Сойдся, мои друзья (не велико число их!)
О тайнах тайн вели бы разговор.
Не внемля им, на розах, на левкоях
Рассеянный ты нежила бы взор.

Так. Резвая — ты мудрости не ценишь.
И пусть! Зато сквозь смерть услышу,
друг живой,
Как на груди моей ты робко переменишь
Мешок со льдом заботливой рукой.

1915



Милые девушки, верьте или не верьте:
Сердце мое поет только вас и весну.
Но вот, уж давно меня клонит к смерти,
Как вас под вечер клонит ко сну.

Положивши голову на розовый локоть,
Дремлете вы, — а там — соловей
До зари не устанет щелкать и цокать
О безвыходном трепете жизни своей.

Я бессонно брожу по земле меж вами,
Я незримо горю на легком огне,
Я сладчайшими вам расскажу словами
Про все, что уж начало сниться мне.

1916

ШВЕЯ

Ночью и днем надо мною упорно,
Гулко стрекочет швея на машинке.
К двери привешена в рамочке черной
Надпись короткая: «Шью по картинке».

Слушая стук над моим изголовьем,
Друг мой, как часто гадал я без цели:
Клонишь ты лик свой над трауром вдовьим,
Иль над матроской из белой фланели?

Вот, я слабею, я меркну, сгораю,
Но застучишь ты, и в то же мгновенье,
Мнится, я к милой земле приникаю,
Слушаю жизни родное биенье...

Друг неизвестный! Когда пронесутся
Мимо души все былые обиды,
Мертвого слуха не так ли коснутся
Взмахи кадила, слова панихиды?

1917

НА ХОДУ

Метель, метель... В перчатке — как чужая,
Застывшая рука.
Не страшно ль жить, почти что осязая,
Как ты близка?

И все-таки бреду домой с покупкой,
И все-таки живу.
Как прочно все! Нет, он совсем не хрупкий,
Сон наяву!

Еще томят земные расстоянья,
Еще болит рука,
Но все ясней, уверенней сознание,
Что ты близка.

1916

УТРО

Нет, больше не могу смотреть я
Туда, в окно!
О, это горькое предсмертье, —
К чему оно?

Во всем одно звучит: «Разлуке
Ты обречен!»
Как нежно в нашем переулке
Желтеет клен!

Ни голоса вокруг, ни стука,
Все та же даль...
А все-таки порою жутко,
Порою жаль.

1916

В ПЕТРОВСКОМ ПАРКЕ

Висел он, не качаясь,
На узком ремешке.
Свалившаяся шляпа
Чернела на песке.
В ладонь впивались ногти
На стиснутой руке.

А солнце восходило,
Стремя к полудню бег,
И перед этим солнцем,
Не опуская век,
Был высоко приподнят
На воздух человек.

И зорко, зорко, зорко
Смотрел он на восток.
Внизу столпились люди
В притихнувший кружок.
И был почти невидим
Тот узкий ремешок.

1916

СМОЛЕНСКИЙ РЫНОК

Смоленский рынок
Перехожу.
Полет снежинок
Слежу, слежу.
При свете дня
Желтеют свечи;
Все те же встречи
Гнетут меня.
Все к той же чаше
Припал — и пью...
Соседки наши
Несут кутью.
У церкви — синий
Раскрытый гроб,
Ложится иней
На мертвый лоб...
О, лёт снежинок,
Остановись!
Преобразись,
Смоленский рынок!

1916

ПО БУЛЬВАРАМ

В темноте, задыхаясь под шубой, иду,
Как большая рыба по дну морскому.
Трамвай зашипел и бросил звезду
В черное зеркало оттепели.

Раскрываю запекшийся рот,
Жадно ловлю отсыревший воздух, —
А за мной от самых Никитских ворот
Увязался маленький призрак девочки.

1918

У МОРЯ

А мне и волн морских прибой,
Влача камня,
Поет летеюскою струей,
Без утешенья.

Безветрие, покой и лень.
Но в ясном свете
Откуда же ложится тень
На руки эти?

Не ты ль еще томишь, не ты ль,
Глухое тело?
Вон — белая вскрутилась пыль
И пролетела.

Взбирается на холм крутой
Овечье стадо...
А мне — айдесская сквозь зной
Сквозит прохлада.

1917

ЭПИЗОД

...Это было
В одно из утр, унылых, зимних, вьюжных, —
В одно из утр пятнадцатого года.
Изнемогая в той истоме тусклой,
Которая тогда меня томила,
Я в комнате своей сидел один. Во мне,
От плеч и головы, к рукам, к ногам,
Какое-то неясное струенье
Бежало трепетно и непрерывно —
И, выбежав из пальцев, длилось дальше,
Уж вне меня. Я сознавал, что нужно
Остановить его, сдержать в себе, — но воля
Меня покинула... Бессмысленно смотрел я
На полку книг, на желтые обои,
На маску Пушкина, закрывшую глаза.
Все цепенело в рыжем свете утра.
За окнами кричали дети. Гроыхали
Салазки на горе, но эти звуки
Неслись во мне как будто бы сквозь толщу
Глубоких вод...
В пучину погружаясь, водолаз
Так слышит беготню на палубе и крики
Матросов.
И вдруг — как бы толчок, — но мягкий,
осторожный, —
И все опять мне прояснилось, только
В перемещенном виде. Так бывает,
Когда веслом мы сталкиваем лодку
С песка прибрежного; еще нога
Под крепким днищем ясно слышит землю,
И близким кажется зеленый берег,
И кучи дров на нем; но вот, качнуло нас, —
И берег отступает; стала меньше

Та рощица, где мы сейчас бродили;
За рошей встал дымок; а вот — поверх деревьев
Уже видна поляна, и на ней
Краснеет баня.

Самого себя
Увидел я в тот миг, как этот берег:
Увидел вдруг со стороны, как если б
Смотреть немного сверху, слева. Я сидел,
Закинув ногу на ногу, глубоко
Уйдя в диван, с потухшей папиросой
Меж пальцами, совсем худой и бледный.
Глаза открыты были, но какое
В них было выражение, — я не видел.
Того меня, который предо мною
Сидел, — не ощущал я вовсе. Но другому,
Смотревшему как бы бесплотным взором,
Так было хорошо, легко, спокойно.
И человек, сидящий на диване,
Казался мне простым, давнишним другом,
Измученным годами путешествий.
Как будто бы ко мне зашел он в гости,
И замолчав среди беседы мирной,
Вдруг откачнулся, и вздохнул, и умер.
Лицо разгладилось, и горькая улыбка
С него сошла.

Так видел я себя недолго: вероятно,
И четверти положенного круга
Секундная не обежала стрелка.
И как пред тем не по своей я воле
Покинул эту оболочку — так же
В нее и возвратился вновь. Но только
Свершилось это тягостно, с усилием,
Которое мне вспомнить неприятно.
Мне было трудно, тесно, как змее,
Которую заставили бы снова
Вместиться в сброшенную кожу...

Снова

Увидел я перед собою книги,

Услышал голоса. Мне было трудно
Вновь ощущать все тело, руки, ноги...
Так, весла бросив и сойдя на берег,
Мы чувствуем себя вдруг тяжелее.
Струилось вновь во мне изнеможение,
Как бы от долгой гребли, — а в ушах
Гудел неясный шум, как пленный отзвук
Озерного или морского ветра.

1918

ВАРИАЦИЯ

Вновь эти плечи, эти руки
Погреть я вышел на балкон.
Сижу, — но все земные звуки —
Как бы во сне или сквозь сон.

И вдруг, изнеможенья полный,
Плыву: куда — не знаю сам,
Но мир мой ширится, как волны,
По разбежавшимся кругам.

Продлись, ласкательное чудо!
Я во второй вступаю круг
И слушаю, уже оттуда,
Моей качалки мерный стук.

1919

ЗОЛОТО

Иди, вот уже золото кладем в
уста твои, уже мак и мед кладем
тебе в руки. *Salve aeternum**.

Красинский

В рот — золото, а в руки — мак и мед;
Последние дары твоих земных забот.

Но пусть не буду я, как римлянин, сожжен:
Хочу в земле вкусить утробный сон,

Хочу весенним злаком прорасти,
Кружась по древнему, по звездному пути.

В могильном сумраке истлеют мак и мед,
Провалится монета в мертвый рот...

Но через много, много темных лет
Пришлец неведомый отроет мой скелет,

И в черном черепе, что заступом разбит,
Тяжелая монета загремит, —

И золото сверкнет среди костей,
Как солнце малое, как след души моей.

1917

* Прощай навсегда. (латин.) — Ред.

ИЩИ МЕНЯ

Ищи меня в сквозном весеннем свете.
Я весь — как взмах неощутимых крыл,
Я звук, я вздох, я зайчик на паркете,
Я легче зайчика: он — вот, он есть, я был.

Но, вечный друг, меж нами нет разлуки!
Услышь, я здесь. Касаются меня
Твои живые, трепетные руки,
Простертые в текучий пламень дня.

Помедли так. Закрой, как бы случайно,
Глаза. Еще одно усилие для меня —
И на концах дрожащих пальцев, тайно,
Быть может вспыхну кисточкой огня.

1918

2-го НОЯБРЯ

Семь дней и семь ночей Москва металась
В огне, в бреду. Но грубый лекарь щедро
Пускал ей кровь — и обессилев, к утру
Восьмого дня она очнулась. Люди
Повыползли из каменных подвалов
На улицы. Так, переждав ненастье,
На задний двор, к широкой луже, крысы
Опасливой выходят вереницей
И прочь бегут, когда вблизи на камень
Последняя спадает с крыши капля...
К полудню стали собираться кучки.
Глазели на пробоины в домах,
На сбитые верхушки башен; молча
Толпились у дымящихся развалин
И на стенах следы скользнувших пуль
Считали. Длинные хвосты тянулись
У лавок. Проволок обрывки висли
Над улицами. Битое стекло
Хрустело под ногами. Желтым оком
Ноябрьское негреющее солнце
Смотрело вниз, на постаревших женщин
И на мужчин небритых. И не кровью,
Но горькой желчью пахло это утро.
А между тем, уж из конца в конец,
От Пресненской заставы до Рогожской
И с Балчуга в Лефортово, брели,
Теснясь на тротуарах, люди. Шли проведать
Родных, знакомых, близких: живы ль, нет ли?
Иные узелки несли подмышкой
С убогой снедью: так в былые годы
На кладбище москвич благочестивый
Ходил на Пасхе — красное яичко
Съесть на могиле брата или кума...

К моим друзья в тот день пошел и я.
Узнал, что живы, целы, дети дома, —
Чего ж еще хотеть? Побрел домой.
По переулкам ветер, гость залетный,
Гонял сухую пыль, окурки, стружки.
Домов за пять от дома моего
Сквозь мутное окошко, по привычке,
Я заглянул в подвал, где мой знакомый
Живет столяр. Необычайным делом
Он занят был. На верстаке, вверх дном,
Лежал продолговатый, узкий ящик
С покатыми боками. Толстой кистью
Водил столяр по ящику, и доски
Под кистью багровели. Мой приятель
Заканчивал работу: красный гроб.
Я постучал в окно. Он обернулся.
И шляпу сняв, я поклонился низко
Петру Иванычу, его работе, гробу,
И всей земле, и небу, что в стекле
Лазурью отражалось. И столяр
Мне тоже покивал, пожал плечами
И указал на гроб. И я ушел.
А на дворе у нас, вокруг корзины
С плетеной дверцей, сутились дети,
Крича, толкаясь и тесня друг друга.
Сквозь редкие, поломанные прутья
Виднелись перья белые. Но вот —
Протяжно заскрипев, открылась дверца,
И пара голубей, плеща крылами,
Взвилась и закружилась: выше, выше,
Над тихою Плющихой, над рекой...
То падая, то подымаясь, птицы
Ныряли, точно белые ладьи
В дали морской. Вослед им дети
Свистели, хлопали в ладоши... Лишь один,
Лет четырех бутуз, в ушастой шапке,
Присел на камень, растопырил руки,
И вверх смотрел, и тихо улыбался.
Но, заглянув ему в глаза, я понял,

Что улыбается он самому себе,
Той непостижной мысли, что родится
Под выпуклым, еще безбровым лбом,
И слушает в себе биенье сердца,
Движение соков, рост... Среди Москвы,
Страдающей, растерзанной и падшей, —
Как идол маленький, сидел он равнодушный,
С бессмысленной, священной улыбкой.
И мальчику я поклонился тоже.

Дома

Я выпил чаю, разобрал бумаги,
Что на столе скопились за неделю,
И сел работать. Но, впервые в жизни,
Ни «Моцарт и Сальери», ни «Цыганы»
В тот день моей не утолили жажды.

1918

ПОЛДЕНЬ

Как на бульваре тихо, ясно, сонно!
Подхвачен ветром, побежал песок
И на траву плеснул сыпучим гребнем...
Теперь мне любо приходить сюда
И долго так сидеть, полузабывшись.
Мне нравится, почти не глядя, слушать
То смех, то плач детей, то по дорожке
За обручем их бег отчетливый. Прекрасно!
Вот шум, такой же вечный и правдивый,
Как шум дождя, прибоя или ветра.

Никто меня не знает. Здесь я просто
Прохожий, обыватель, «господин»
В коричневом пальто и круглой шляпе,
Ничем не замечательный. Вот рядом
Присела барышня с раскрытой книгой. Мальчик
С ведерком и совочком примостился
У самых ног моих. Насупив брови,
Он возится в песке, и я таким огромным
Себе кажусь от этого соседства,
Что вспоминаю,
Как сам я сиживал у львиного столпа
В Венеции. Над этой жизнью малой,
Над головой в картузике зеленом,
Я возвышаюсь, как тяжелый камень,
Многовековый, переживший много
Людей и царств, предательств и геройств.
А мальчик деловито наполняет
Ведерышко песком и, опрокинув, сыплет
Мне на ноги, на башмаки... Прекрасно!

И с легким сердцем я припоминаю,
Как жарок был венецианский полдень,

Как надо мною реял недвижимо
Крылатый лев, с раскрытой книгой в лапах,
А надо львом, круглясь и розовея,
Бежало облачко. А выше, выше —
Темногустая синь, и в ней катились
Незримые, но пламенные звезды.
Сейчас они пылают над бульваром,
Над мальчиком и надо мной. Безумно
Лучи их борются с лучами солнца...

Ветер

Все шелестит песчаными волнами,
Листает книгу барышни. И все, что слышу,
Преображенное каким-то чудом,
Так полновесно западает в сердце,
Что уж ни слов, ни мыслей мне не надо,
И я смотрю как бы обратным взором
В себя.
И так пленительна души живая влага,
Что, как нарцисс, я с берега земного
Срываюсь и лечу туда, где я один,
В моем родном первоначальном мире,
Лицом к лицу с собой, потерянным когда-то —
И обретенным вновь... И еле внятно
Мне слышен голос барышни: «Простите,
Который час?»

1918

ВСТРЕЧА

В час утренний у Santa Margherita
 Я повстречал ее. Она стояла
 На мостике, спиной к перилам. Пальцы
 На сером камне, точно лепестки,
 Легко лежали. Сжатые колени
 Под белым платьем проступали слабо...
 Она ждала. Кого? В шестнадцать лет
 Кто грезится прекрасной англичанке
 В Венеции? Не знаю — и не должно
 Мне знать того. Не для пустых догадок
 Ту девушку припомнил я сегодня.
 Она стояла, залитая солнцем,
 Но мягкие поля панамской шляпы
 Касались плеч приподнятых — и тенью
 Прохладною лицо покрыли. Синий
 И чистый взор лился оттуда, словно
 Те воды свежие, что пробегают
 По каменному ложу горной речки,
 Певучие и быстрые... Тогда-то
 Увидел я тот взор невыразимый,
 Который нам, поэтам, суждено
 Увидеть раз и после помнить вечно.
 На миг один является пред нами
 Он на земле, божественно вселяясь
 В случайные лазурные глаза.
 Но плещут в нем те пламенные бури,
 Но вьются в нем те голубые вихри,
 Которые потом звучали мне
 В сиянии солнца, в плеске черных гондол,
 В летучей тени голубя и в красной
 Струе вина.
 И поздним вечером, когда я шел
 К себе домой, о том же мне шептали

Певучие шаги венецианок,
И собственный мой шаг казался звонче,
Стремительней и легче. Ах, куда,
Куда в тот миг мое вспорхнуло сердце,
Когда тяжелый ключ с пружинным звоном
Я повернул в замке? И отчего,
Переступив порог сеней холодных,
Я в темноте у каменной цистерны
Стоял так долго? Ощупью взбираясь
По лестнице, влюбленностью назвал я
Свое волненье. Но теперь я знаю,
Что крепкого вина в тот день вкусил я —
И чувствовал еще в своих устах
Его минутный вкус. А вечный хмель
Пришел потом.

1918

ОБЕЗЬЯНА

Была жара. Леса горели. Нудно
Тянулось время. На соседней даче
Кричал петух. Я вышел за калитку.
Там, прислонясь к забору, на скамейке
Дремал бродячий серб, худой и черный.
Серебряный тяжелый крест висел
На груди полуголой. Капли пота
По ней катились. Выше, на заборе,
Сидела обезьяна в красной юбке
И пыльные листы сирени
Жевала жадно. Кожаный ошейник,
Оттянутый назад тяжелой цепью,
Давил ей горло. Серб, меня слышав,
Очнулся, вытер пот и попросил, чтоб дал я
Воды ему. Но чуть ее пригубив, —
Не холодна ли, — блюдце на скамейку
Поставил он, и тотчас обезьяна,
Макая пальцы в воду, ухватила
Двумя руками блюдце.
Она пила, на четвереньках стоя,
Локтями опираясь на скамью.
Досок почти касался подбородок,
Над теменем лысеющим спина
Высоко выгибалась. Так, должно быть,
Стоял когда-то Дарий, припадая
К дорожной луже, в день, когда бежал он
Пред мощною фалангой Александра.
Всю воду выпив, обезьяна блюдце
Долой смахнула со скамьи, привстала
И — этот миг забуду ли когда? —
Мне черную, мозолистую руку,
Еще прохладную от влаги, протянула...
Я руки жал красавицам, поэтам,

Вождам народа — ни одна рука
Такого благородства очертаний
Не заключала! Ни одна рука
Моей руки так братски не коснулась!
И видит Бог, никто в мои глаза
Не заглянул так мудро и глубоко,
Воистину — до дна души моей.
Глубокой древности сладчайшие преданья
Тот нищий зверь мне в сердце оживил,
И в этот миг мне жизнь явилась полной,
И мнилось — хор светил и волн морских,
Ветров и сфер мне музыкой органной
Ворвался в уши, загремел, как прежде,
В иные, незапамятные дни.
И серб ушел, постукивая в бубен.
Присев ему на левое плечо,
Покачивалась мерно обезьяна,
Как на слоне индийский магараджа.
Огромное малиновое солнце,
Лишенное лучей,
В опаловом дыму висело. Изливался
Безгромный зной на чахлую пшеницу.

В тот день была объявлена война.

1919

ДОМ

Здесь домик был. Недавно разобрали
 Верх на дрова. Лишь каменного низа
 Остался грубый остов. Отдыхать
 Сюда по вечерам хожу я часто. Небо
 И дворика зеленые деревья
 Так молодо встают из-за развалин,
 И ясно так рисуются пролеты
 Широких окон. Рухнувшая балка
 Похожа на колонну. Затхлый холод
 Идет от груды мусора и щебня,
 Засыпавшего комнаты, где прежде
 Гнездились люди...
 Где ссорились, мирились, где в чулке
 Замызганные деньги припасались
 Про черный день; где в духоте и мраке
 Супруги обнимались; где потели
 В жару больные; где рождались люди
 И умирали скрытно, — все теперь
 Прохожему открыто. — О, блажен,
 Чья вольная нога ступает бодро
 На этот прах, чей посох равнодушный
 В покинутые стены ударяет!
 Чертоги ли великого Рамсеса,
 Поденщика ль безвестного лачуга —
 Для странника равны они: все той же
 Он песенкою времени утешен;
 Ряды ль колонн торжественных, иль дыры
 Дверей вчерашних — путника все так же
 Из пустоты одной ведут в другую
 Таковую же...

Вот лестница с узором
 Поломанных перил уходит в небо,

И обрываясь, верхняя площадка
Мне кажется трибуною высокой.
Но нет на ней оратора. — А в небе
Уже горит вечерняя звезда,
Водительница гордого раздумья.

Да, хорошо ты, время! Хорошо
Вдохнуть от твоего ужасного простора.
К чему таиться? Сердце человеچه
Играет, как проснувшийся младенец,
Когда война, иль мор, или мятеж
Вдруг налетят и землю сотрясают;
Тут разверзаются, как небо, времена —
И человек душой неуголимой
Бросается в желанную пучину.

Как птица в воздухе, как рыба в океане,
Как скользкий червь в сырых пластах земли,
Как саламандра в пламени, — так человек
Во времени. Кочевник полудикий,
По смене лун, по очеркам созвездий
Уже он силится измерить эту бездну
И в письменах неопытных заносит
События, как острова на карте...
Но сын отца сменяет. Грады, царства,
Законы, истины — преходят. Человеку
Ломать и строить — равная улада:
Он изобрел историю — он счастлив!
И с ужасом и тайным сладострастьем
Следит безумец, как между минувшим
И будущим, подобно ясной влаге,
Сквозь пальцы уходящей, — непрерывно
Жизнь утекает. И трепещет сердце,
Как легкий флаг на мачте корабельной,
Между воспоминаньем и надеждой —
Сей памятью о будущем...

Но вот —
Шуршат шаги. Горбатая старуха

С большим кулем. Морщинистой рукой
Она со стен сдирает паклю, дранки
Выдергивает. Молча подхожу
И помогаю ей, и мы в согласьи добром
Работаем для времени. Темнеет,
Из-за стены встает зеленый месяц,
И слабый свет его, как струйка, льется
По кафелям обрушившейся печи.

1919-1920

СТАНСЫ

Уж волосы седые на висках
Я прядью черной прикрываю,
И замирает сердце, как в тисках,
От лишнего стакана чаю.

Уж тяжелы мне долгие труды,
И не таят очарованья
Ни знаний слишком пряные плоды,
Ни женщин душевные лобзанья.

С холодностью взираю я теперь
На скуку славы предстоящей...
Зато слова: цветок, ребенок, зверь —
Приходят на уста все чаще.

Рассеянно я слушаю порой
Поэтов праздные бряцанья,
Но душу полнит сладкой полнотой
Зерна немое прорастанье.

1918

АНЮТЕ

На спичечной коробке —
Смотри-ка — славный вид:
Кораблик трехмачтовый
Не двигаясь бежит.

Не разглядишь, а верно —
Команда есть на нем,
И в тесном трюме, в бочках,
Изюм, корица, ром.

И есть на нем, конечно,
Отважный капитан,
Который видел много
Непостижимых стран.

И верно — есть матросик,
Что мастер песни петь
И любит ночью звездной
На небеса глядеть...

И я, в руке Господней,
Здесь, на Его земле, —
Точь в точь как тот матросик
На этом корабле.

Вот и сейчас, быть может,
В каюте кормовой
В окошечко глядит он
И видит — нас с тобой.

1918



И весело, и тяжело
Нести дряхлеющее тело.
Что буйствовало и цвело,
Теперь набухло и дозрело.

И кровь по жилам не спешит,
И руки повисают сами.
Так яблонь осенью дрожит,
Отягощенная плодами,

И не постигнуть юным, вам,
Всей нежности неодолимой,
С какою хочется ветвям
Коснуться вновь земли родимой.

1920 <1923>

БЕЗ СЛОВ

Ты показала мне без слов,
Как вышел хорошо и чисто
Тобою проведенный шов
По краю белого батиста.

А я подумал: жизнь моя,
Как нить, за Божьими перстами
По легкой ткани бытия
Бежит такими же стежками.

То виден, то сокрыт стежок,
То в жизнь, то в смерть перебегая...
И, улыбаясь, твой платок
Перевернул я, дорогая.

1918

ХЛЕБЫ

Слепящий свет сегодня в кухне нашей.
В переднике, осыпана мукой,
Всех Сандрильон и всех Миньон ты краше
Бесхитростной красой.

Вокруг тебя, заботливы и зримы,
С вязанкой дров, с кувшином молока,
Роняя перья крыл, хлопочут херувимы...
Сквозь облака

Прорвался свет, и по кастрюлям медным
Пучками стрел бьют желтые лучи.
При свете дня подобен розам бледным
Огонь в печи.

И эти струи будущего хлеба
Сливая в звонкий глянчатый сосуд,
Клянется ангел нам, что истинны, как небо,
Земля, любовь и труд.

1918

ТЯЖЕЛАЯ ЛИРА

МУЗЫКА

Всю ночь мела метель, но утро ясно.
Еще воскресная по телу бродит лень,
У Благовещенья на Бережках обедня
Еще не отошла. Я выхожу во двор.
Как мало все: и домик, и дымок,
Завившийся над крышей! Сребророзов
Морозный пар. Столпы его восходят
Из-за домов под самый купол неба,
Как будто крылья ангелов гигантских.
И маленьким таким вдруг оказался
Дородный мой сосед, Сергей Иванович.
Он в полушубке, в валенках. Дрова
Вокруг него раскиданы по снегу.
Обеими руками, напрягаясь,
Тяжелый свой колун над головою
Заносит он, но — тук! тук! тук! — не громко
Звучат удары: небо, снег и холод
Звук поглощают... «С праздником, сосед».
«А, здравствуйте!» — Я тоже расставляю
Свои дрова. Он — тук! Я — тук! Но вскоре
Надоедает мне колоть, я выпрямляюсь
И говорю: «Постойте-ка минутку,
Как будто музыка?» Сергей Иванович
Перестает работать, голову слегка
Приподымает, ничего не слышит,
Но слушает старательно... «Должно быть,
Вам показалось», — говорит он. — «Что вы,
Да вы прислушайтесь. Так ясно слышно!»
Он слушает опять: «Ну, может быть —
Военного хоронят? Только что-то
Мне не слышать». Но я не унимаюсь:
«Помилуйте, теперь совсем уж ясно.
И музыка идет как будто сверху.

Виолончель... и арфы, может быть...
Вот хорошо играют! Не стучите». —
И бедный мой Сергей Иванович снова
Перестает колоть. Он ничего не слышит,
Но мне мешать не хочет и досады
Старается не выказать. Забавно:
Стоит он посреди двора, боясь нарушить
Неслышную симфонию. И жалко
Мне, наконец, становится его.
Я объявляю: «Кончилось». Мы снова
За топоры беремся. Тук! Тук! Тук!.. А небо
Такое же высокое, и так же
В нем ангелы пернатые сияют.

1920



Леди долго руки мыла,
Леди крепко руки терла.
Эта леди не забыла
Окровавленного горла.

Леди, леди! Вы как птица
Бьетесь на бессонном ложе.
Триста лет уж вам не спится —
Мне лет шесть не спится тоже.

1922



Не матерью, но тульской крестьянкой
Еленой Кузиной я выкормлен. Она
Свивальники мне грела над лежанкой,
Крестила на ночь от дурного сна.

Она не знала сказок и не пела,
Зато всегда хранила для меня
В заветном сундуке, обитом жемчугом белой,
То пряник вяземский, то мятного коня.

Она меня молитвам не учила,
Но отдала мне безраздельно все:
И материнство горькое свое,
И просто все, что дорого ей было.

Лишь раз, когда упал я из окна,
Но встал живой (как помню этот день я!)
Грошовую свечу за чудное спасенье
У Иверской поставила она.

И вот, Россия, «громкая держава»,
Ее сосцы губами теребя,
Я высосал мучительное право
Тебя любить и проклинать тебя.

В том честном подвиге, в том счастье
 песнопений,
Которому служу я в каждый миг,
Учитель мой — твой чудотворный гений,
И поприще — волшебный твой язык.

И пред твоими слабыми сынами
Еще порой гордиться я могу,

Что сей язык, завещанный веками,
Любовней и ревнивей берегу...

Года бегут. Грядущего не надо,
Минувшее в душе пережжено,
Но тайная еще жива отрада,
Что есть и мне прибежище одно:

Там, где на сердце, съеденном червями,
Любовь ко мне нетленно затая,
Спит рядом с царскими, ходынскими гостями
Елена Кузина, кормилица моя.

1922



Так бывает почему-то:
Ночью, чуть забрезжат сны —
Сердце словно вдруг откуда-то
Упадает с вышины.

Ах! — и я в постели. Только
Сердце бьется невпопад.
В полутьме ночного столика
Смутно смотрит циферблат.

Только ощущеньем кручи
Ты еще трепещешь вся —
Легкая моя, падучая,
Милая душа моя!

1920

К ПСИХЕЕ

Душа! Любовь моя! Ты дышишь
Такою чистой высотой,
Ты крылья тонкие колышешь
В такой лазури, что порой,

Вдруг, не стерпя счастливой муки,
Лелея наш святой союз,
Я сам себе целую руки,
Сам на себя не наляжусь.

И как мне не любить себя,
Сосуд непрочный, некрасивый,
Но драгоценный и счастливый
Тем, что вмещает он — тебя?

1921

ДУША

Душа моя — как полная луна:
Холодная и ясная она.

На высоте горит себе, горит —
И слез моих она не осушит:

И от беды моей не больно ей,
И ей невнятен стон моих страстей;

А сколько здесь мне довелось страдать —
Душе сияющей не стоит знать.

1921



Психея! Бедная моя!
Дыханье робко затая,
Внимать не смеет и не хочет:
Заслушаться так жутко ей
Тем, что безмолвие пророчит
В часы мучительных ночей.

Увы! за что, когда все спит,
Ей вдохновение твердит
Свои пифийские глаголы?
Простой душе невыносим
Дар тайнослышанья тяжелый.
Психея падает под ним.

1921

ИСКУШЕНИЕ

«Довольно! Красоты не надо.
Не стоит песен подлый мир.
Померкни, Тассова лампада —
Забудься, друг веков, Омир.

«И Революции не надо!
Ее рассеянная рать
Одной венчается наградой,
Одной свободой — торговать.

Вотще на площади пророчит
Гармонии голодный сын:
Благих вестей его не хочет
Благополучный гражданин.

«Самодовольный и счастливый,
Под грудой выцветших знамен,
Коросту хамства и наживы
Себе начесывает он:

«— Прочь, не мешай мне, я торгую.
— Но не буржуй, но не кулак,
— Я прячу выручку дневную
— Свободы в огненный колпак.

«Душа! Тебе до боли тесно
Здесь, в опозоренной груди.
Ищи отрады поднебесной,
А вниз, на землю не гляди».

Так искушает сердце злое
Психеи чистые мечты.
Психея же в ответ: — Земное,
Что о небесном знаешь ты?

1921



Пуškai минувшего не жаль,
Пуškai грядущего не надо —
Смотрю с язвительной отрадой
Времен в приближенную даль.
Всем равный жребий, вровень хлеба
Отмерит справедливый век.
А все-таки порой на небо
Посмотрит смирный человек, —
И одиночество взыграет,
И душу гордость окрылит:
Он неравенство оценит
И дерзновенья пожелает...
Так нынче травка прорастает
Сквозь трещины гранитных плит.

1921

БУРЯ

Буря! Ты армады гонишь
По разгневанным водам,
Тучи вьешь и мачты клонишь,
Прах подьемлешь к небесам.

Реки вспять ты обращаешь,
На скалы бросаешь понт,
У старушки вырываешь
Ветхий, вывернутый зонт.

Вековые рощи косишь,
Градом бьешь посев полей, —
Только мудрым не приносишь
Ни веселий, ни скорбей.

Мудрый подойдет к окошку,
Поглядит, как бьет гроза, —
И смыкает понемножку
Пресыщенные глаза.

1921



Люблю людей, люблю природу,
Но не люблю ходить гулять,
И твердо знаю, что народу
Моих творений не понять.

Довольный малым, созерцаю
То, что дает нещедрый рок:
Вяз, прислонившийся к сараю,
Покрытый лесом бугорок...

Ни грубой славы, ни гонений
От современников не жду,
Но сам стригу кусты сирени
Вокруг террасы и в саду.

1921

ГОСТЮ

Входя ко мне, неси мечту,
Иль дьявольскую красоту,
Иль Бога, если сам ты Божий.
А маленькую доброту,
Как шляпу, оставляй в прихожей.

Здесь, на горошине земли,
Будь или ангел, или демон.
А человек — иль не затем он,
Чтобы забыть его могли?

1921



Когда б я долго жил на свете,
Должно быть, на исходе дней
Упали бы соблазнов сети
С несчастной совести моей.

Какая может быть досада,
И счастья разве хочешь сам,
Когда нездешняя прохлада
Уже бежит по волосам?

Глаз отдыхает, слух не слышит,
Жизнь потаенно хороша,
И небом невозбранно дышит
Почти свободная душа.

1921

ЖИЗЕЛЬ

Да, да! В слепой и нежной страсти
Переболей, перегори,
Рви сердце, как письмо, на части,
Сойди с ума, потом умри.

И что ж? Могильный камень двигать
Опять придется над собой,
Опять любить и ножкой дрыгать
На сцене лунно-голубой.

1922

ДЕНЬ

Горячий ветер, злой и лживый.
Дыханье пыльной духоты.
К чему, душа, твои порывы?
Куда еще стремишься ты?

Здесь хорошо. Вкушает лира
Свой усыпительный покой
Во влажном сладострастии мира,
В ленивой прелести земной.

Здесь хорошо. Грозы раскаты
Над ясной улицей ворчат,
Идут под музыку солдаты,
И бесы юркие кишат:

Там разноцветные афиши
Спешат расклеить по стенам,
Там скатываются по крыше
И падают к людским ногам.

Тот ловит мух, другой танцует,
А этот, с мордочкой тупой,
Бесстыжим всадником гарцует
На бедрах ведьмы молодой...

И верно долго не прервется
Блистательная кутерьма,
И с грохотом не распадется
Темно-лазурная тюрьма.

И солнце не устанет парить,
И поп, деньку такому рад,
Не догадается ударить
Над этим городом в набат.

1921

ИЗ ОКНА

1

Нынче день такой забавный:
От возниц, что было сил,
Конь умчался своенравный;
Мальчик змей свой упустил;
Вор ципленка утащил
У безносой Николавны.

Но — настигнут вор нахальный,
Змей упал в соседний сад,
Мальчик ладит хвост мочальный,
И коня ведут назад:
Восстает мой тихий ад
В стройности первоначальной.

〈1921〉

2

Все жду: кого-нибудь задавит
Взбесившийся автомобиль,
Зевака бледный окровавит
Торцовую сухую пыль.

И с этого пойдет, начнется:
Раскачка, выворот, беда,
Звезда на землю оборвется,
И станет горькою вода.

Прервутся сны, что душу душат.
Начнется все, чего хочу,
И солнце ангелы потушат,
Как утром — лишнюю свечу.

1921

В ЗАСЕДАНИИ

Грубой жизнью оглушенный,
Нестерпимо уязвленный,
Опускаю веки я —
И дремлю, чтоб легче минул,
Чтобы как отлив отхлынул
Шум земного бытия.

Лучше спать, чем слушать речи
Злобной жизни человечьей,
Малых правд пустую прю.
Все я знаю, все я вижу —
Лучше сном к себе приближу
Неизвестную зарю.

А уж если сны приснятся,
То пускай в них повторяются
Детства давние года:
Снег на дворике московском
Иль — в Петровском-Разумовском
Пар над зеркалом пруда.

1921



Ни розового сада,
Ни песенного лада
Воистину не надо —
Я падаю в себя.

На все, что людям ясно,
На все, что им прекрасно,
Вдруг стала несогласна
Взыгравшая душа.

Мне все невыносимо!
Скорей же, легче дыма,
Летите мимо, мимо,
Дурные сны земли.

1921

СТАНСЫ

Бывало, думал: ради мига
И год, и два, и жизнь отдам...
Цены не знает прощальга
Своим приبلудным пятакам.

Теперь иные дни настали.
Лежат морщины возле губ,
Мои минуты вздорожали,
Я стал умен, суров и скуп.

Я много вижу, много знаю,
Моя седеет голова,
И звездный ход я примечаю,
И слышу, как растет трава.

И каждый вам неслышный шопот,
И каждый вам незримый свет
Обогащает смутный опыт
Психеи, падающей в бред.

Теперь себя я не обижу:
Старею, горблюсь, — но коплю
Все, что так нежно ненавижу
И так язвительно люблю.

1922

ПРОБОЧКА

Пробочка над крепким иодом!
Как ты скоро перетлела!
Так вот и душа незримо
Жжет и разъедает тело.

1921

ИЗ ДНЕВНИКА

Мне каждый звук терзает слух,
И каждый луч глазам несносен.
Прорезываться начал дух,
Как зуб из-под припухших десен.

Прорежется — и сбросит прочь
Изношенную оболочку.
Тысячеокий — канет в ночь,
Не в эту серенькую ночьку.

А я останусь тут лежать —
Банкир, заколотый апашем —
Руками рану зажимать,
Кричать и биться в мире вашем.

1921

ЛАСТОЧКИ

Имей глаза — сквозь день увидишь ночь,
Не озаренную тем воспаленным диском.
Две ласточки напрасно рвутся прочь,
Перед окном шныряя с тонким писком.

Вон ту прозрачную, но прочную плеву
Не прободать крылом остроугольным,
Не выпорхнуть туда, за синеву,
Ни птичьим крылышком, ни сердцем
подневольным.

Пока вся кровь не выступит из пор,
Пока не выплачешь земные очи —
Не станешь духом. Жди, смотря в упор,
Как брызжет свет, не застилая ночи.

1921



Перешагни, перескочи,
Перелети, пере- что хочешь —
Но вырвись: камнем из пращи,
Звездой, сорвавшейся в ночи...
Сам затерял — теперь ищи...

Бог знает, что себе бормочешь,
Ища пенснэ или ключи.

1922



Смотрю в окно — и презираю.
Смотрю в себя — презрен я сам.
На землю громы призываю,
Не доверяя небесам.

Дневным сиянием объятый,
Один беззвездный вижу мрак...
Так вьется на гряде червяк,
Рассечен тяжкою лопатой.

1921

СУМЕРКИ

Снег навалил. Все затихает, глохнет.
Пустынный тянется вдоль переулка дом.
Вот человек идет. Пырнуть его ножом —
К забору прислонится и не охнет.
Потом опустится и ляжет вниз лицом.
И ветерка дыхание снеговое,
И вечера чуть уловимый дым —
Предвестники прекрасного покоя —
Свободно так закружатся над ним.
А люди черными сбегутся муравьями
Из улиц, со дворов, и станут между нами,
И будут спрашивать, за что и как убил, —
И не поймет никто, как я его любил.

1921

БАКХ

Как волшебник, прихожу я
Сквозь весеннюю грозу.
Благосклонно приношу я
Вам азийскую лозу.

Ветку чудную привейте,
А когда настанет срок,
В чаши чистые налейте
Мой животворящий сок.

Лейте женам, пейте сами,
Лейте девам молодым.
Сам я буду между вами
С золотым жезлом моим.

Подскажу я песни хору,
В светлом буйстве закружу,
Отуманенному взору
Чудно все преображу.

И дана вам будет сила
Знать, что скрыто от очей,
И ни старость, ни могила
Не смутят моих детей.

Ни змея вас не ужалит,
Ни печаль — покуда хмель
Всех счастливых не повалит
На зеленую постель.

Я же — прочь, походкой резвой,
В розовеющий туман,
Сколько бы ни выпил — трезвый,
Лишь самым собою пьян.

1921

ЛИДА

Высоких слов она не знает,
Но грудь бела и высока
И сладострастно воздыхает
Из-под кисейного платка.
Ее стопы порою босы,
Ее глаза слегка раскосы,
Но сердце тем верней летит
На их двусмысленный магнит.
Когда поют ее подруги
У полунощного костра,
Она молчит, скрестивши руки,
Но хочет песен до утра.
Гитарный голос ей понятен
Отзывом роковых страстей,
И говорят, немало пятен —
Разгулу отданных ночей —
На женской совести у ней.
Лишь я ее не вызываю
Условным стуком на крыльцо,
Ее ночей не покупаю
Ни за любовь, ни за кольцо.
Но мило мне ее явление,
Когда на спящее селенье
Ложится утренняя мгла:
Она проходит в отдалении,
Едва слышна, почти светла,
Как будто Ангелу Паденья
Свободно руку отдала.

1921

БЕЛЬСКОЕ УСТЬЕ

Здесь даль видна в просторной раме:
За речкой луг, за лугом лес,
Здесь ливни черными столпами
Проходят по краям небес.

Здесь радуга высоким сводом
Церковный покрывает крест,
И каждый праздник по приходам
Справляют ярмарки невест.

Здесь аисты, болота, змеи,
Крутой, песчаный косогор,
Простые сельские затеи,
Об урожае разговор.

А я росистые поляны
Топчу тяжелым башмаком,
Я петербургские туманы
Таю любовно под плащом,

И к девушкам, румяным розам,
Склоняясь томною главой,
Дышу на них туберкулезом,
И вдохновеньем, и Невой,

И мыслю: что ж, таков от века,
От самых роковых времен,
Для ангела и человека
Непререкаемый закон.

И тот, прекрасный неудачник
С печатью знания на челе,

Был тоже — просто первый дачник
На расцветающей земле.

Сойдя с возвышенного Града
В долину мирных райских роз,
И он дыхание распада
На крыльях дымчатых принес.

1921



Горит звезда, дрожит эфир,
Таится ночь в пролеты арок.
Как не любить весь этот мир,
Невероятный Твой подарок?

Ты дал мне пять неверных чувств,
Ты дал мне время и пространство,
Играет в мареве искусств
Моей души непостоянство.

И я творю из ничего
Твои моря, пустыни, горы,
Всю славу солнца Твоего,
Так ослепляющую взоры.

И разрушаю вдруг шутя
Всю эту пышную нелепость,
Как рушит малое дитя
Из карт построенную крепость.

1921



Играю в карты, пью вино,
С людьми живу — и лба не хмую.
Ведь знаю: сердце все равно
Летит в излюбленную бурю.

Лети, кораблик мой, лети,
Кренясь и не ища спасенья.
Его и нет на том пути,
Куда уносит вдохновенье.

Уж не вернуться нам назад,
Хотя в ненастье нашей ночи,
Быть может, с берега глядят
Одни, нам ведомые очи.

А нет — беды не много в том!
Забыты мы — и то не плохо.
Ведь мы и гибнем и поем
Не для девического вздоха.

1922

АВТОМОБИЛЬ

Бредем в молчании суровом.
Сырая ночь, пустая мгла.
И вдруг — с каким певучим зовом —
Автомобиль из-за угла.

Он черным лаком отливает,
Сияя гранями стекла,
Он в сумрак ночи простирает
Два белых ангельских крыла.

И стали здания похожи
На праздничные стены зал,
И близко возле нас прохожий
Сквозь эти крылья пробежал.

А свет мелькнул и замаячил,
Колебя дождевую пыль...
Но слушай: мне являться начал
Другой, другой автомобиль...

Он пробегает в ясном свете,
Он пробегает белым днем,
И два крыла на нем, как эти,
Но крылья черные на нем.

И все, что только попадает
Под черный сноп его лучей,
Невозвратно исчезает
Из утлой памяти моей.

Я забываю, я теряю
Психею светлую мою,

Слепые руки простираю,
И ничего не узнаю:

Здесь мир стоял, простой и целый,
Но с той поры, как ездит тот,
В душе и в мире есть пробелы,
Как бы от пролитых кислот.

1921

ВЕЧЕР

Под ногами скользь и хруст.
Ветер дунул, снег пошел.
Боже мой, какая грусть!
Господи! какая боль!

Тяжек Твой подлунный мир,
Да и Ты немилосерд.
И к чему такая ширь,
Если есть на свете смерть?

И никто не объяснит,
Отчего на склоне лет
Хочется еще бродить,
Верить, коченеть и петь.

1922



Странник прошел, опираясь на посох, —
Мне почему-то припомнилась ты.
Едет пролетка на красных колесах —
Мне почему-то припомнилась ты.
Вечером лампу зажгут в коридоре, —
Мне непременно припомнишься ты.
Чтоб ни случилось, на суше, на море,
Или на небе, — мне вспомнишься ты.

1922

ПОРОК И СМЕРТЬ

Порок и смерть! Какой соблазн горит,
И сколько нег вздыхает в слове малом!
Порок и смерть язвят единым жалом,
И только тот их язвы убежит,
Кто тайное хранит на сердце слово —
Утешный ключ от бытия иного.

1921

ЭЛЕГИЯ

Деревья Кронверкского сада
Под ветром буйно шелестят.
Душа взыграла. Ей не надо
Ни утешений, ни услад.

Глядит бесстрашными очами
В тысячелетия свои,
Летит широкими крылами
В огнекрылатые рои.

Там все огромно и певуче,
И арфа в каждой есть руке,
И с духом дух, как туча с тучей,
Гремят на чудном языке.

Моя изгнанница вступает
В родное, древнее жилье
И старшим братьям заявляет
Равенство гордое свое.

И навсегда уж ей не надо
Того, кто под косым дождем
В аллеях Кронверкского сада
Бредет в ничтожестве своем.

И не понять мне бедным слухом,
И косным не постичь умом,
Каким она там будет духом,
В каком раю, в аду каком.

1921



На тускнеющие шпили,
На верхи автомобилей,
На железо старых стрех
Налипает первый снег.

Много раз я это видел,
А потом возненавидел,
Но сегодня тот же вид
Новым чем-то веселит.

Это сам я в год минувший,
В Божьи бездны соскользнувший,
Пересоздал навсегда
Мир, державшийся года.

И вот в этом мире новом,
Напряженном и суровом,
Нынче выпал первый снег...
Не такой он, как у всех.

1921

МАРТ

Размякло, и раскисло, и размокло.
От сырости так тяжело вздохнуть.
Мы в тротуары смотримся, как в стекла,
Мы смотрим в небо — в небе дождь и муть...

Не чудно ли? В затоптанном и низком
Свой горний лик мы нынче обрели,
А там, на небе, близком, слишком близком,
Все только то, что есть и у земли.

1922



Старым снам затерян сонник.
Все равно — сбылись иль нет.
Ночью сядь на подоконник —
Посмотри на тусклый свет.

Ничего, что так туманны
Небеса и времена:
Угадай-ка постоянный
Вид из нашего окна.

Вспомни все, что так недавно
Веселило сердце нам;
Невский в даль уходит плавно,
Небо клонится к домам;

Смотрит серый, вековечный
Купол храма в купол звезд,
И на нем — шестиконечный,
Нам сейчас незримый крест.

1922



Не верю в красоту земную
И здешней правды не хочу.
И ту, которую целую,
Простому счастьем не учу.

По нежной плоти человеческой
Мой нож проводит алый жгут:
Пусть мной целованные плечи
Опять крылами прорастут!

1922



Друзья, друзья! Быть может, скоро —
И не во сне, а наяву —
Я нить пустого разговора
Для всех неожиданно оборву,

И повинюсь только звуку
Души, запевшей, как смычок,
Вдруг подниму на воздух руку,
И затрепещет в ней цветок,

И я увижу и открою
Цветочный мир, цветочный путь, —
О, если бы и вы со мною
Могли туда перешагнуть!

1921

УЛИКА

Была туманной и безвестной,
Мерцала в лунной вышине,
Но воплощенной и телесной
Теперь являться стала мне.

И вот — среди беседы чинной,
Я вдруг с растерянным лицом
Снимаю волос, тонкий, длинный,
Забытый на плече моем.

Тут гость из-за стакана чаю
Хитро косится на меня.
А я смотрю и понимаю,
Тихонько ложечкой звеня:

Блажен, кто завлечен мечтою
В безвыходный, дремучий сон,
И там внезапно сам собою
В нездешнем счастье уличен.

1922



Покрова Майи потаенной
Не приподнять моей руке,
Но чуден мир, отображенный
В твоём расширенном зрачке.

Там в непостижном сочетаньи
Любовь и улица даны:
Огня эфирного пыланье
И просто — таянье весны.

Там светлый космос возникает
Под зыбким пологом ресниц.
Он кружится и расцветает
Звездой велосипедных спиц.

1922



Большие флаги над эстрадой,
Сидят пожарные, трубя.
Закрой глаза и падай, падай,
Как навзничь — в самого себя.

День, раздраженный трубным ревом,
Небес надвинутую синь
Заворожи единым словом,
Одним движеньем отодвинь.

И закатив глаза под веки,
Движение крови затая,
Вдохни минувший сумрак некий,
Утробный сумрак бытия.

Как всадник на горбах верблюда,
Назад в истоме откачнись,
Замри — или умри отсюда,
В давно забытое родись.

И с обновленною отрадой,
Как бы мираж в пустыне сей,
Увидишь флаги над эстрадой,
Услышишь трубы трубачей.

1922



Гляжу на грубые ремесла,
Но знаю твердо: мы в раю...
Простой рыбак бросает весла
И ржавый якорь на скамью.

Потом с товарищем толкает
Ладью тяжелую с песков
И против солнца уплывает
Далеко на вечерний лов.

И там, куда смотреть нам больно,
Где плещут волны в небосклон,
Высокий парус треугольный
Легко разворачивает он.

Тогда встает в дали далекой
Розовоперое крыло.
Ты скажешь: ангел там высокий
Ступил на воды тяжело.

И неспешными стопами
Другие подошли к нему,
Шатая плавными крылами
Морскую дымчатую тьму.

Клубятся облака густые,
Дозором ангелы встают, —
И кто поверит, что простые
Там сети и ладьи плывут?

1922



Ни жить, ни петь почти не стоит:
В непрочной грубости живем.
Портной тачает, плотник строит:
Швы расползутся, рухнет дом.

И лишь порой сквозь это тленье
Вдруг умиленно слышу я
В нем заключенное биенье
Совсем иного бытия.

Так провождая жизни скуку,
Любовно женщина кладет
Свою взволнованную руку
На грузно пухнувший живот.

1922

БАЛЛАДА

Сижу, освещаемый сверху,
Я в комнате круглой моей.
Смотрю в штукатурное небо
На солнце в шестнадцать свечей.

Кругом — освещенные тоже —
И стулья, и стол, и кровать.
Сижу — и в смущении не знаю,
Куда бы мне руки девать.

Морозные белые пальмы
На стеклах беззвучно цветут.
Часы с металлическим шумом
В жилетном кармане идут.

О, косная, нищая скудость
Безвыходной жизни моей!
Кому мне поведать, как жалко
Себя и всех этих вещей?

И я начинаю качаться,
Колени обнявши свои,
И вдруг начинаю стихами
С собой говорить в забытии.

Бессвязные, страстные речи!
Нельзя в них понять ничего,
Но звуки правдивее смысла,
И слово сильнее всего.

И музыка, музыка, музыка
Вплетается в пенье мое,

И узкое, узкое, узкое
Пронзает меня лезвие.

Я сам над собой вырастаю,
Над мертвым встаю бытием,
Стопами в подземное пламя,
В текущие звезды челом.

И вижу большими глазами —
Глазами, быть может, змеи —
Как пению дикому внемлют
Несчастные вещи мои.

И в плавный, вращательный танец
Вся комната мерно идет,
И кто-то тяжелую лиру
Мне в руки сквозь ветер дает.

И нет штукатурного неба
И солнца в шестнадцать свечей:
На гладкие черные скалы
Стопы опирает Орфей.

1921

ДОПОЛНЕНИЯ

СТИХИ, ИСКЛЮЧЕННЫЕ ИЗ
ПОСЛЕДНЕЙ АВТОРСКОЙ РЕДАКЦИИ КНИГ

I

[ПУТЕМ ЗЕРНА]

ГАЗЕТЧИК

«Вечерние известия!..»
Ори, ласкай мне слух,
Пронырливая бестия,
Вечерний улиц дух.

Весенняя распутица
Ведет меня во тьму,
А он юлит и крутится,
И все равно ему —

Геройство иль бесчестие,
Позор иль торжество:
Вечерние известия —
И больше ничего.

Шагает демон маленький,
Как некий исполин,
Расхлябанною валенкой
Над безднами судьбин.

Но в самом безразличии,
В бездушьи торгаша, —
Какой соблазн величия
Пьет жадная душа!

1919

УЕДИНЕНИЕ

Заветные часы уединенья!
Ваш каждый миг лелею, как зерно:
Во тьме души да прорастет оно
Таинственным побегом вдохновенья.
В былые дни страданье и вино
Воспламеняли сердце. Ты одно
Живишь меня теперь — уединенье.

С мечтою — жизнь, с молчаньем — песнопенье
Связало ты, как прочное звено.
Незыблемо с тобой сопряжено
Судьбы моей грядущее решение.
И если мне погибнуть суждено —
Про моряка, упавшего на дно,
Ты песенку мне слой — уединенье!

1915



Как выскажу моим косноязычем
Всю боль, весь яд?
Язык мой стал звериным или птичьим,
Уста молчат.

И ничего не нужно мне на свете,
И стыдно мне,
Что суждены мне вечно пытки эти
В его огне;

Что даже смертью, гордой, своевольной,
Не вырвусь я;
Что и она — такой же, хоть окольный,
Путь бытия.

1920

РЫБАК

Песня

Я наживляю мой крючок
Трепещущей звездой.
Луна — мой белый поплавок
Над черною водой.

Сижу, старик, у вечных вод
И тихо так пою,
И солнце каждый день клюет
На удочку мою.

А я веду его, веду
Весь день по небу, но —
Под вечер, заглотав звезду,
Срывается оно.

И скоро звезд моих запас
Истрачу я, рыбак.
Эй, берегитесь! В этот час
Охватит землю мрак.

1919

ВОСПОМИНАНИЕ

Здесь, у этого колодца,
Поднесла ты мне две розы.
Я боялся страсти томной —
Алых роз твоих не принял.

Я сказал: «Прости, Алина,
Мне к лицу венок из лавров
Да серебряные розы
Размышлений и мечтаний».

Больше нет Алины милой,
Пересох давно колодец,
Я ж лелею одиноко
Голубую розу — старость.

Скоро в домик мой сойдутся
Все соседи и соседки
Посмотреть, как я забылся
С белой, томной розой смерти.

1914

СЕРДЦЕ

Забвенье — сознание — забвенье...
А сердце, кровавый скупец,
Все копит земные мгновенья
В огромный свинцовый ларец.

В ночи ли проснусь я, усталый,
На жарком одре бредовом —
Оно, надрываясь, в подвалы
Ссыпает мешок за мешком.

А если глухое биенье
Замедлит порою слегка —
Отчетливей слышно паденье
Червонца на дно сундука.

И много тяжелых цехинов,
И много поддельных гиней
Толпа теневых исполинов
Разграбит в час смерти моей.

1916

СТАРУХА

Запоздалая старуха,
Задыхаясь, тащит санки.
Ветер, снег.
А бывало-то! В Таганке!
Эх!
Растегаи — легче пуха,
Что ни праздник — пироги,
С рисом, с яйцами, с вязигой...
Ну, тянись, плохая, двигай!
А кругом ни зги.
— Эй, сыночек, помоги!

Но спешит вперед прохожий,
Весь блестя скрипучей кожей.
И во след ему старуха
Что-то шепчет, шепчет глухо,
И слаба-то, и пьяна
Без вина.

Это вечер. Завтра глянет
Мутный день, метель устанет,
Чуть закружится снежок...
Выйдем мы, — а у ворот
Протянулась из сугроба
Пара ног.
Легкий труп, окоченелый,
Простыней покрывши белой,
В тех же саночках, без гроба,
Милицейский увезет,
Растолкав плечем народ.

Неречист и хладнокровен
Будет он, — а пару бревен,
Что везла она в свой дом,
Мы в печи своей сожжем.

1919

II

[ТЯЖЕЛАЯ ЛИРА]



Слепая сердца мудрость! Что ты значишь?
На что ты можешь дать ответ?
Сама томишься, пленница, и плачешь:
Тебе самой исхода нет.

Рожденная от опыта земного,
Бессильная пред злобой дня,
Сама себя ты уязвить готова,
Как скорпион в кольце огня.

1921



Слышать я вас не могу.
Не подступайте ко мне.
Волком бы лечь на снегу!
Дыбом бы шерсть на спине!

Белый оскаленный клык
В небо очерить и взвыть —
Так, чтобы этот язык
Зубом насквозь прокусить...

Впрочем, объявят тогда,
Что исписался уж я,
Эти вот все господа:
Критики, дамы, друзья.

1921

НЕВЕСТА

Напрасно проросла трава
На темени земного ада:
Природа косная мертва
Для пронизательного взгляда.

Не знаю воли я Творца,
Но знаю я свое мученье,
И дерзкой волею певца
Приемлю дерзкое решение.

Смотри, Молчальник, и суди:
Мертва лежит отроковица,
Но я коснусь ее груди —
И вставши, в зеркальце глядится.

Мной воскрешенную красу
Беру, как ношу дорогую, —
К престолу Твоему несу
Мою невесту молодую.

Разгладь насупленную бровь,
Воззри на чистое создание,
Даруй нам вечную любовь
И непорочное слиянье!

А если с высоты Твоей
На чудо нет благословенья, —
Да будет карою моей
Сплошная смерть без воскресенья.

ПРИЛОЖЕНИЯ

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

В.Ф.ХОДАСЕВИЧА

[КАНВА АВТОБИОГРАФИИ (до 1922)]

Следующий фрагмент заимствован нами из мемуаров Н.Берберовой [113, стр. 168-169] с ее же пояснениями.

* * *

Я попросила его записать кое-что на память — канву автобиографии, может быть, календарь его детства и молодости. Он подсел к моему столу и стал писать, а когда кончил, дал мне кусок картона. На нем было написано:

1886 — родился.

1887, 1888, 1889 — Городовой <первое воспоминание>. Овельт <ксендз, ходивший в дом родителей>. Париж <поездка родителей на Парижскую выставку>, грамота <научился читать трех лет>. Маня <старшая сестра>.

1890, 1891 — Конек-горбунок (Ершова) <первый увиденный балет, с него началось увлечение танцами>. Балеты. Танцы. Мишины книжки. Мастерская отца, портвейн, дядя Петя. Бабушка. Овсенские.

1892 — Покойница в Богородском.

1893 — Щенковы, торговля, индейцы. Балы. Зима — стихи, котильон. Корь.

1894 — Чижики. Война. Фромгольд. Школа. Бронхит.

1895 — Толга. Школа. Оспа <черная, не оставившая следов на лице>.

1896 — Экзамены. Коронация. Озерки. Сиверская. Майков.

1897 — Гимназия. Карашевич. Фотография. Ж.Органов. Брюсов <Александр, товарищ по классу, брат поэта>. Малицкий.

1898 — Смерть Юрочки. Балы. Женя Кун (первая детская любовь). Дом Масс.

1899 — Багриновские. Инженерство. Бабочки.

1900 — Ставрополь. Три разговора (В.Соловьева). Бабочки. Ридберги.

1901 — Хулиганство. Балы. Прасолов. Тимирязев. Достоевский (Прасолов, Тимирязев — представители золотой моск. молодежи. Достоевский — Ф.Ф., сын Ф.М.).

1902 — Северные цветы (журнал). Малицкий. Стихи. Ланговой. Шенрок. Театры. Дарьял.

1903 — Гриф. Гофман. Малицкий. Стихи навсегда. Тарновская (первая серьезная любовь). Переезд от родителей. Стражев.

1904 — Тарновская. Марина. Белый.

1905 — Альманах Грифа. Женитьба. Бальмонт. 17 октября. Рождество в Гирееве. Ссора с Мишей.

1906 — Золотое Руно. Перевал. Зайцевы и др. Карты.

1907 — Муни. 30 декабря разъезд с Мариной. Карты.

1908 — «Молодость». Голос Москвы и пр. Голод. Беклемишев. Карты.

1909 — Пьянство. Гиреево. Женитьба Муни. Карты.

1910 — Маскарад. Женя Муратова. Пожар. «Марина из Грубаго» (роман Тетмайера, пер. Ходасевича). Карты, пьянство.

1911 — Пьянство. Карты. Италия. СПб. Смерть мамы. Босачество. Нюра. Смерть отца. Голод. Зима в Гирееве.

1912 — Дом Б... Институт красоты. Валентина. Т.Саввинская.

1913 — Валентина. Мусaget. Голод. Гиреево. «Летучая мышь» (театр Балиева, Ходасевич писал и переводил для него). Дом Андреева. Смерть Нади Львовой.

1914 — Футуристы. Пьянство. «Счастливый домик». Игорь Северянин. Русские ведомости. «София». Война.

1915 — Таня Саввинская. Финляндия. Царское село. Дом Мартынова. Именины Л.Столицы (поэтесса; у нее в гостях В.Ф. упал и сместил себе позвоночник).

1916 — Таня Савв. Смерть Муни. Коктебель. Армяне, финны, латыши. Женя Богословская.

1917 — Революция. Клуб писателей. Коктебель. «Народоправство». Ссора с Г.Чулковым. Октябрь. Евреи (переводы с иврита, — Ю.К.).

1918 — Толстые (Алексей Николаевич и Наталья Васильевна). Амари (М.О. и М.С.Цетлины). Вечера. Наркомтруд. Книжная лавка. Всемирная литература.

1919 — Лавка. Книжная палата. Голод.

1920 — Голод. Болезнь. «Путем зерна». Петербург.

1921 — Диск и пр. Бельское устье. Книги. К а т а с т р о ф а.

[О С Е Б Е]

Оказавшись 30 июня 1922 года в Берлине, Ходасевич получил предложение журнала *Новая Русская Книга* опубликовать на его страницах свою автобиографию. Приведенный ниже набросок появился в седьмом, июльском, номере журнала [62].

* * *

Писать автобиографию на нескольких страничках — и бессмысленно и не хочется. Лучше расскажу очень внешне свою жизнь за последние годы, начиная с весны 1916, когда сразу страстись надо мной две беды: умер самый дорогой мне человек, С.В.Киссин (Муни), а я сам заболел туберкулезом позвоночника. Тут зашили меня в гипсовый корсет, мытарили, подвешивали и посылали в Крым. Прожил месяца три в Коктебеле, очень поправился, корсет сняли. Следующую зиму жил в Москве, писал. На лето 1917 снова в Коктебель. Зимой снова Москва, «Русские Ведомости», «Власть Народа», «Новая Жизнь».

Весной 1918 началась советская служба и вечная занятость не тем, чем хочется и не что есть умение: общая судьба всех, проживших эти годы в России. Работал сперва в театрально-музыкальной секции Моск. Совета, потом в Тео Наркомпроса с Балтрушайтисом, Вяч. Ивановым, Новиковым. Читал в Московском Пролеткульте о Пушкине. Мешали. Сперва предложили ряд эпизодических лекций. После третьей велели перейти на семинарий. Перешел. После третьего же «урока» — опять надо все ломать: извольте читать «курс»: Пушкин,

его жизнь и творчество. Что ж, хорошо и это. Дошел до выхода из лица — каникулы или что-то в этом роде. В Пролеткульте внутренний развал: студийцы быстро переросли своих «идейных вождей». Бросил, ушел.

С конца 1918 г. заведовал Московским Отделением «Всемирной Литературы». Эту работу, скучную, очень «административную», едва дотащил до лета 1920 года, когда пришлось бросить и ее: никак нельзя было выжать рукописей из переводчиков, потому что ставки Госиздата повышались юмористически медленно, а дороговизна жизни росла трагически быстро. Ушел и из «Всемирной Литературы».

В 1918 г. в конце лета затеял вместе с П.П.Муратовым книжную лавку писателей. Добыли книг на комиссию от знакомых издателей. Добыли откуда-то денег на обзаведение, поселились в Леонтьевском переулке, 16. Стали за прилавок. Е.Д.Кускова была первой покупательницей: когда шкафы были еще пусты, купила какую-то газету за 30 коп. Кажется, это и составило запасной капитал. Торговали в лавке: В.А.Грифцов, М.В.Линд, П.П.Муратов, Е.Л.Янтареv, А.С.Яковлев, М.А.Осоргин, я. Работали в очередь. Моя жена сидела за кассой, зимой изнывая в нетопленном магазине — по целым дням. Кое-как были сыты. Зиму 1919-20 г. провели ужасно. В полуподвальном этаже нетопленного дома, в одной комнате, нагреваемой при помощи окна, пробитого — в кухню, а не в Европу. Трое в одной маленькой комнате, градусов 5 тепла (роскошь по тем временам). С Рождества, однако, пришлось с ней расстаться: не по карману. Колол дрова, таскал воду, пек лепешки, топил плиту мокрыми поленьями. Питались щами, нелегально купленной пшенной кашей (иногда с маслом), махоркой, чаем с сахаринoм. Мы с женой в это время служили в Книжной Палате Московского Совета: я — заведующим, жена — секретарем.

К весне 1920 г., выпустив «Путем зерна», — слег: заболел фурункулезом. Эта весна была ужасна. Дом отсырел, с окон в комнату текли потоки от талого снега. Я лежал. Жена днем на службе, потом — за кухарку, потом — за сестру милосердия. Своими руками перевязала по двадцать раз все мои 121 нарыв (по точному счету). Летом стало полегче. Поместились в санатории. Жена — на 6 недель, я — на 3 месяца.

Осенью, после семи белых билетов, меня, еще покрытого

остатками нарывов, с болями в позвоночнике, какие-то умники «пересмотрели» и признали: «годен в строй». Спас Горький, отвезший в Кремль мое письмо к Ленину. Снова пересмотрели уже настоящие врачи — и отпустили. Задумал бежать в Петербург. На прощанье в Москве обокрали квартиру: всю одежду мою и женину. Это была катастрофа. Кое-как прикрыли наготу с помощью родных, распродали мебель — и в Петербург.

Там поселились в «Доме Искусств». Сперва снова лежал около месяца. С начала 1921 г. жили сносно. У меня — ученый паек и кое-какая работа, у жены — служба. Хорошие две комнаты, чисто, градусов 10-12 тепла. В Петербурге настоящая литература: Сологуб, Ахматова, Замятин, Кузмин, Белый, Гумилев, Блок. Чудесная, милая литературная молодежь: «Серапионовы братья», кружок «Звучащая раковина». Конец лета провел в «Бельском устье», в Покровском уезде, Псковской губ., в колонии «Дома Искусств». Отъедался вообще и объедался фруктами. Много писал стихов с середины лета 1921 до февраля 1922. Готова у меня книга новая «Тяжелая лира». В эту зиму издал и переиздал в Петербурге шесть книг своих.

И все было хорошо. Но с февраля кое-какие события личной жизни выбили из рабочей колеи, а потом привели сюда, в Берлин. У меня заграничный паспорт на шесть месяцев сроком. Боюсь, что придется просить отсрочки, хотя больше всего мечтаю снова увидеть Петербург, и тамошних друзей моих и вообще — Россию, изнурительную, убийственную, омерзительную, но чудесную и сейчас, как во все времена свои.

Берлин
Июль 1922

ПРИМЕЧАНИЯ

МОЛОДОСТЬ

Книга вышла в 1908 (судя по времени появления первого отзыва — в феврале или марте), в издательстве С.А.Соколова «Гриф», и с тех пор не переиздавалась. Ходасевич не включил ее в итоговое Собрание 1927 года, — так же, как и вторую свою книгу, *Счастливый домик* (1914). В предисловии к итоговому Собранию [9]* эти два сборника названы юношескими, между тем к моменту их выхода поэту было соответственно двадцать один и двадцать семь лет. Много позже, в 1933, говоря о второй волне символизма, принесшей лавину «расхожих, обыкновенных стихов /.../, отмеченных расплывчатостью мысли и неточностью словаря» [68], он замечает: «я и сам писал тогда именно такие стихи...» [68]. Эта жестокая самооценка, столь характерная для Ходасевича, была принята на веру и в течение многих лет господствовала в литературоведении, не подвергаясь пересмотру. Так, Вл.Орлов (1976) пишет: «Тщательно отделанные, хорошо выглаженные стихи молодого Ходасевича, со строго отобранным, взвешенным на весах пуризма словарем, логической ясностью... оставляют впечатление неподвижности и мертвенности... До самой революции Ходасевич не выделялся из многочисленной толпы тогдашних стихотворцев...» [115]. То же мнение находим в статье Василия Бетаки (1979): «Ходасевич вообще исключает из своего творчества две ранних книги, в которых он представлял как подражатель символистов...» [116]. Эти отзывы не кажутся нам, однако, ни вполне справедливыми, ни окончательными. Вопрос о художественной значимости и истоках раннего творчества Ходасевича все еще недостаточно изучен.

Издание 1908 года [1] снабжено тремя титульными листами: на первом, вслед за именем автора и названием, значится: «Стихи 1907 года. Москва — 1908. Книгоиздательство "Гриф"»; третий отличается от первого подзаголовком: «Первая книга стихов»; второй содержит только название. На странице 5 обозначено общее посвящение — *МАРИНЕ*.

Марина Рындина (1887-?) — первая жена поэта. Их брак был заключен 24 апреля 1905, окончательный разрыв («разъезд», по выражению Ходасевича [113: стр. 169]) произошел 30 декабря

* Цифра в квадратных скобках указывает порядковый номер источника из раздела Литература.

1907. Вот что сообщает об этом браке З.А.Шаховская: «... он женился на Марине Рындиной, 18-летней, богатой девушке, фантастически красивой и эксцентричной до крайности. Раз она въехала верхом в гостиную отцовской усадьбы. Будучи замужем, она держала у себя в доме самых странных животных, говорят, это были жабы, ужи и т.д. Наконец, на одном московском костюмированном балу, в начале 900-х годов, она появилась голая, и держала в руках вазу в форме лебедя, изображая Леду и лебедя — что, конечно, произвело скандал. Прожил с ней Х. 2-3 года, затем Марина Р. завела роман с Сергеем Маковским и вышла за него замуж...» (письмо к Ю.К. от 20.03.1981).

Сергей Константинович Маковский (1877-1962), второй муж М.Рындиной, был редактором-издателем журнала «Аполлон».

Из 34 стихотворений, содержащихся в книге, одно (*Ряженные*) помечено 1906 годом; под остальными дата отсутствует, и мы, на основании подзаголовка на титульном листе, относим их к 1907 году.

Книга по необходимости воспроизводится нами в новой орфографии и фонетике. В большинстве случаев это не влечет за собою искажений стилистической окраски текста, а лишь меняет графику (отсутствие **ъ**) и звучание отдельных слов (ее вместо ея и т.п.). Исключение составляют существительные на **-ье** в предложном падеже: мы всюду оставляем авторское окончание **-ьи**. Современная норма (сохранение падежного окончания именительного падежа) плохо обоснована, а иногда ведет и к прямому нарушению смысла. Пунктуация Ходасевича почти не отличается от установившейся; она всюду сохранена.

Сразу после выхода книги появились две рецензии на нее: Валерия Брюсова [73] и Виктора Гофмана [74]. Через год несколькими строками откликнулся И.Анненский [75]. Четырнадцать лет спустя, в связи с третьей книгой Ходасевича, о *Молодости* вспомнила М.Шагинян [95]. В.Брюсов пишет: «У Ходасевича есть то, чего недостает и Гумилеву и Потемкину: острота переживаний. /.../ Что до внешнего выражения этих переживаний, то оно только-только достигает среднего уровня. Г.Ходасевич пишет стихи, как все их могут писать в наши дни после К.Бальмонта, А.Белого, А.Блока. Стих г.Ходасевича это средний, расхожий стих наших дней. /.../ Исповедь г.Ходасевича оставляет впечатление, хотя в ней мало гром-

ких слов и патетических восклицаний...». — Иначе оценивает формальные достижения Ходасевича В.Гофман: «Эта первая, чрезвычайно тоненькая и бедная количеством стихов книжечка молодого поэта, несомненно, заслуживает внимания. Достаточно открыть ее на любом стихотворении, чтобы убедиться, что поэт прежде всего строгий к себе мастер формы. Внешняя форма и техника стиха почти везде безупречны и часто изысканны. Ходасевич знает ценность слов, любит их, и обыкновенно у него виден строгий и обдуманный отбор их. Размеры его разнообразны и внутренне закономерны, последовательно вытекая из содержания и сущности стихотворения или даже составляя часть этой сущности. Почти везде подкупающая поющая мелодичность. Наконец, к положительным сторонам книжки нужно отнести несомненный художественный вкус ее автора (качество довольно редкое у современных русских поэтов), не позволяющий ему все оригинальное считать обязательно хорошим (впрочем, кое-где этот вкус ему изменяет)...». Говоря о недостатках книги, Гофман отмечает «неприятное манерничание автора», «его самолюбование», его стремление эпатировать буржуа. — «Кое-что в книге должно быть отнесено к общим, бесконечно захватанным и засиженным местам русского модернизма, весьма банальным и надоевшим» [74]. — М.Шагинян (1922) рассматривает *Молодость* в ретроспективе, сквозь призму последующих достижений Ходасевича, уже получившего всеобщее признание: «Лирический путь Ходасевича обращен обычному пути поэта, и здесь тоже причина его одинокой замкнутости. Он никогда не был молод; уста его никогда не глаголили от избытка, окрашивающего каждую птицу на току и превращающего молодость почти в синоним гениальности. Он начал сухо и желчно, — горькой смесью желчи и уксуса; его первый сборник “Молодость” кажется названным в насмешку. Но зато он и не полинял. Перелистывая первые его стихи, вы диву даетесь: здесь все так выжжено, так графично, так четко, так чуждо влажной распылчатости начинающих поэтов, что выбросить, выжать ничего нельзя, — все осталось. Но недобрая колючесть его странной, старческой молодости — не перешла в угрюмое чудачество. Ходасевич, по мере того как современные ему поэты старели, линяли, шли на ущерб, — очеловечивался и наполнялся...» [95].

В МОЕЙ СТРАНЕ стр.3-18

В моей стране стр.3

Стихотворение посвящено Самуилу Викторовичу Киссину (1885-1916), «поэту, всей Москве известному под псевдонимом Муни» [12], ближайшему другу Ходасевича. «В иные годы мы были почти неразлучны. Все свободное время (его было достаточно) проводили вместе, редко у Муни, чаще у меня, а всего чаще — просто на улицах или в ресторанах...» [12: стр.108]. Десятилетняя дружба с Муни сыграла громадную роль в формировании поэтического своеобразия Ходасевича. Будучи призван в первые дни войны, Муни не вынес ее ужасов и застрелился (в Минске, 28.03.1916). Он был женат на Л.Я.Брюсовой, сестре поэта. Воспоминания о нем, вошедшие в *Некрополь* [12], представляют собою замечательный очерк литературной Москвы периода второй волны символизма. С Муни связаны многие стихотворения Ходасевича, в том числе и написанные после смерти друга. — На санскрите **муни** — молчальник, аскет. Шакья Муни — одно из имен Будды.

2 **В моей стране...** — Возможно, речь здесь идет о Тульской губернии. До переезда в Москву, где родился поэт, семья Ф.Ходасевича жила в Туле. Из Тульской губернии была родом Е.А.Кузина (Степанова), няня поэта. Тульская земля могла им восприниматься как родина.

20 **И каждый год родят, не доносив...** — Приземленность стихотворения, открывающего сборник, носит программный характер. Напомним, что *Молодость* появилась в 1908, в год внезапного и полного торжества символизма.

«Нет, молодость, ты мне была верна...»
стр.4

Стихотворение это загадочно тем, что обращение к аллегорической молодости в ст.1 очевидно сменяется в ст.7 обращением к жен-

щине. Такая абберация характерна для первой (и частично второй) книги Ходасевича, осеняемой созвездием из трех М: Молодость—Муза—Марина. Они то сливаются, то подменяют друг друга. Роль нигде в тексте не упоминаемого имени собственного иногда выполняют слова **сестра**, **кузина** (см., например, стихотворение *К музе*, стр.57). Элементы триады развиваются и обретают свою наибольшую автономию в *Тяжелой лире*, четвертой книге поэта. В ней эта триада читается так: Душа—Дух—Тело.

«Вокруг меня кольцо сжимается...»

стр.5

Впервые — [24]. В этом же сборнике напечатано стихотворение Муни (С.В.Киссина), начинающееся строфой:

Стучится в дверь рука упрямая.
Войдите! Скучен мой досуг.
И дверь открыв, вошла Тоска моя,
Старинный, неизменный друг...

Очевидна интонационная и семантическая переключка друзей-поэтов. Тоска с прописной буквы — их общая дань торжествующему символизму.

«Один среди речных излучин...»

стр.6

Впервые — [24].

Как силуэт

стр.7

В оглавлении к [1] дано как одно целое, а не как цикл из двух самостоятельных пьес.

9 ...забвенная река... — В.Гофман [74] назвал это словосочетание рискованным. Ходасевич мог знать стихотворение И.Анненского

Colloque Sentimental (переложение из Поля Верлена), начинающееся строкой:

Забвенный мрак аллей обледенелых...

Оно входило в *Тихие песни*, опубликованные в 1904.

Осень
стр.8

3 Я прихожу в этот храм... — Возможно, тот самый костел в Милютинском переулке в Москве, куда в детстве, по воскресениям, возила будущего поэта его мать, С.Я.Ходасевич (Брафман). Ходасевич родился и вырос в католической семье. «...он и похоронен был в Париже по католическому обряду...», сообщает З.А.Шаховская [114].

Sanctus Amor
стр.9

Название стихотворения повторяет название книги рассказов Нины Петровской.

Нина Ивановна Петровская (1884-1928), беллетристка, жена поэта и редактора-издателя «Грифа» С.А.Соколова (Кречетова). С Петровской, по словам Ходасевича, его «...связывала большая дружба. Московские болтуны были уверены, что не только дружба. Над их уверенностью мы немало смеялись и, по правде сказать, иногда нарочно ее укрепляли — из чистого озорства...» [12]. Н.И.Петровская — одна из характернейших и трагических фигур русского символизма. Любовница Бальмонта (1904), Андрея Белого (1904-1905) и Брюсова (1905-1911), прототип Ренаты из *Огненного ангела* последнего, она покончила с собой в Париже, отравившись газом. Незадолго до самоубийства она жила несколько дней в квартире Ходасевича и Н.Н.Берберовой на улице Ламбларди 14. Ходасевич назвал ее истинной жертвой декадентства.

1-2 И я пришел к тебе, любовь,/Вслед за людьми приволочился... — В.Брюсов (1908) пишет: «У В.Ходасевича есть... острота пережива-

ний. Как дневник, как "исповедь одной души", — его книжка имеет свою цену. Автор говорит о себе: /цит. ст.1-2/... И этот тон какого-то расслабления, которое вынуждает лишь волочиться за людьми без охоты и без воли, тон старческого бессилия проникает всю книгу, озаглавленную "Молодость"...» [73]. Отношения между Брюсовым и Ходасевичем в 1908 приближались к дружеским (с поправкой на старшинство, столь важное для старшего), и отзыв Брюсова — еще непредвзятый. Н.Петровская, измученная легкомыслием Брюсова, часто нуждалась в заступничестве. Одна из попыток вступить за нее привела в 1910 к резкой ссоре между поэтами. Обид Брюсов не забывал. В начале 1920-х годов он, уже неизлечимый морфинист, все еще сводил свои счета с Ходасевичем: написал на него донос, едва не обернувшийся для жертвы голодной смертью (1921); напечатал (1923) уничтожающую рецензию на *Тяжелую лиру*, более говорящую о печальной деградации рецензента, чем о недостатках книги [97]. Ходасевич, напротив, всегда оставался верен своему принципу: не проецировать личные отношения на литературные оценки. В 1914 он называет *Зеркало теней* Брюсова «прекрасной и значительной книгой» [55], «...с радостью видя, что поэт далеко еще не пережил расцвета поэтических своих сил...» [55].

«Протянулись дни мои...»

стр.11

Об этом стихотворении В.Брюсов (1908) писал: «Эти стихи порой ударяют больно по сердцу, как горькое признание, сказанное сквозь зубы и с сухими глазами: /цит. ст.1-3, затем ст.17 в форме: "Я, тобой смирен, молчу"/...» [73]. Брюсов, по-видимому, правильно угадал интонацию ст.17 — и, цитируя его, вставил запятую, по небрежности выпущенную Ходасевичем (или наборщиком). Об отношениях поэтов см. прим. к стр.9.

Ряженные

стр.12

Впервые — [24], с пометкой: Лидино, дек. 905.

Лидино — имя Рындиных возле станции Бологое. Женившись в первой половине 1905 года на Марине Рындиной, Ходасевич сде-

лался его «случайным полуобладателем» [12]. — В.Гофман [74] пишет: «Неумны и банальны заключительные строки "Ряженных". /цит. ст.17-20/. Ужасно деланно: /цит. ст.15-16/...». Вряд ли эти замечания справедливы.

Гадание

стр.13

Эпиграф — из *Евгения Онегина*: Глава пятая, VII, ст.6. — В.Гофман [74] видит в этих стихах влияние В.Брюсова.

«Все тропы проклятью преданы...»

стр.14

Впервые — [24].

В.Брюсов (1908) отмечает это стихотворение как удачное, цитируя ст.1-4 и затем ст.11-12 — непосредственно вслед за цитатой из стихотворения «Протянулись дни мои...» (см. прим. к стр.11; приведенная там реплика рецензента относится также и к этим стихам). В.Гофман [74] находит в этом стихотворении влияние В.Брюсова.

К портрету в черной рамке

стр.15

Вероятный адресат — Марина Рындина. На это указывает обращение: «Моя печальная сестра...» (ст.12). Как у апостола Павла, у Ходасевича в первых двух книгах слово **сестра** (кузина) употребляется обычно в значении **жена, возлюбленная**.

¹⁴ И «неизменно все, как было»... — В кавычках цитата: фрагмент первого стиха из стихотворения А.Блока «Так. Неизменно все, как было...» (1905).

Ночи
стр.16

Сергей Алексеевич Соколов (1879-1936) — поэт (псевд. **Кречетов**), редактор-издатель «Грифа» (издательство и альманахи в 1903-1914 в Москве), впоследствии эмигрант. Его первой женой была Н.И.Петровская, друг Ходасевича (см. прим. к стр.9); второй — звезда немого кино Лидия Рындина.

КУЗИНА
стр.18-37

Зарница
стр.18

9-12 **Я вспоминаю: мне обещаны...** — В.Гофман [74] пишет: «Нехорошо: "обещаны в небе огненные трещины"». Подобный перифраз строфы, с выпуском почти трех строк и при отрицательном отзыве о ней, — не кажется нам вполне корректным.

Звезда
стр.19

9-10 **Ведь только страсть/Неизменно цепи множит...** — Здесь впервые отчетливо звучит нота гораццианства, столь характерная для последующего творчества Ходасевича и всей его жизни. Не случайно это стихотворение — едва ли не лучшее в сборнике. Замечательно его интонационное построение. Пиррихий в первой стопе делает метр угловатым и энергичным, и в нем непросто угадать четырехстопный хорей.

Стихи о кузине
стр.20-24

Вероятный адресат — Марина Рындина: см. прим. к стр.4 и 15.

Эпиграф — первый стих из стихотворения Генриха Гейне *Die Heimkehr* (1823): *Buch der Lieder*, № 50.

I. Она
стр.20

3 И поцелуй у жасмина... — Уже ранний Ходасевич жестко автобиографичен: ср. ст.16 в стихотворении *К музе* (1910), стр.57. Из реальный внешнего мира в его поэзию проникают только те, которые реализовались в жизни.

II. Старинные друзья
стр.21

Эпиграф — фрагмент ст.6 из сонета В.Брюсова *Отверженные* (1901): *Urbi et Orbi*.

III. Воспоминание
стр.22

Сергей Абрамович Ауслендер (1886-1943) — беллетрист, автор драматических пьес, повестей и воспоминаний, театральный критик журнала *Аполлон*. Его рассказом *Вечер у г-жи де Севираж* вызвано стихотворение М.Кузмина *Любви утехи*. Ауслендеру посвящена книга Н.Петровской *Sanctus Amor*. Краткая Литературная Энциклопедия сообщает о нем, между прочим, следующее: «В 20-е гг. переселился в Сибирь». Переселение произошло не позднее 1920, когда был убит адмирал А.В.Колчак, верховный правитель Уфимской директории, чьим непосредственным покровительством Ауслендер пользовался. Это покровительство не помешало Ауслендеру умереть «русским советским писателем» (КЛЭ, т.9).

Романс
стр.25

В *Романсе* обыгрывается популярная *Серенада* В.А.Соллогуба (1813-1882), написанная в 30-е годы XIX века. Выделенные Ходасевичем стихи — перифразы из нее.

1 «Накинув плащ, с гитарой под полою»... — *Серенада*, ст.1:

Закинув плащ, с гитарой под рукою...

15-16 «Иль может быть, услышав серенаду/Ты из нее хоть что-нибудь поймешь»... — *Серенада*, ст.21-22:

Но нет... душой услышав серенаду,
Стыдясь во сне... ты песнь любви поймешь...

19 «Но песнь моя есть фимиам священный»... — *Серенада*, ст.11:

И наша песнь — как фимиам священный.

Поэт. Элегия
стр.26

Ст.12-13 представляют собою цитату ст.6-7 из стихотворения А.Пушкина *Певец* (1816).

Кольца
стр.30-31

В.Гофман [74] пишет: «Как и обыкновенно в первых книгах начинающих поэтов, и у г.Ходасевича не обошлось без подражаний или, по крайней мере, бессознательного влияния полюбившихся образцов. Наиболее близкими были, по-видимому, Блок («Кольца») и Брюсов...».

«Мои слова печально кротки...»
стр.33

6-7 Я снова тих и тайно весел.../За дверью нашей — Тишина... — Здесь легко угадывается интонационное и лексическое родство со стихотворением А.Блока «Нет имени тебе, мой дальний...» (1906).

За снегами
стр.34

Эпиграф — из рассказа Ф.Сологуба *Елкич* (Собр. соч. в 12 томах, М., 1909-1912, т.7, стр.93).

«Время легкий бисер нижет...»
стр.35

Это стихотворение целиком приводит И.Анненский [75], предпосылая ему следующее: «Вот сборник Владислава Ходасевича "Молодость". Стихи еще 1907 года, а я до сих пор не пойму: Андрей ли это Белый, только без очарования его зацепок, или наш, из "Комнаты". Верлен, во всяком случае, проработан хорошо. Славные стихи и степью не пахнут. Бог с ними, с этими емшанами!».

Цветку Ивановой ночи
стр.36

Стихотворение, возможно, восходит к *Ивановой ночи* (1906) А.Блока («Мы выйдем в сад с тобою, скромной...»). — «Иванов-день, Ивана-купалы, 24 июня. Иванова ночь замечательна мнимым цветом папоротника, кладоисканьем». (Словарь В.Даля, т. II).

Пролог неоконченной пьесы
стр.37

В своих воспоминаниях об Андрее Белом (1938), вошедших в *Некрополь* [12], Ходасевич пишет: «Я далеко не разделял всех воззрений Белого, но он повлиял на меня сильнее кого бы то ни было из людей, которых я знал...». Влияние А.Белого в *Молодости* отмечает И.Анненский [75] (см. прим. к стр.35). Однако в этом стихотворении, несмотря на посвящение его Белому, гораздо естественнее предположить влияние А.Блока, у которого находим тот же интонационный рисунок («Еще прекрасно серое небо...», 1905):

Еще прекрасно серое небо,
Еще безнадежна серая даль.

СЧАСТЛИВЫЙ ДОМИК

Книга вышла первым изданием в 1914, в московском издательстве *Альциона*. Включенным в нее стихам было предпослано

Предисловие

В «Счастливый домик» вошло далеко не все, написанное мною со времени издания первой книги моих стихов. Многое из написанного и даже напечатанного за эти пять лет я отбросил: отчасти, как не отвечающее моим теперешним требованиям, отчасти — как нарушающее общее содержание этого цикла.

Ноябрь 1913.

В.Х.

В 1921 и 1922 книга была дважды переиздана З.И.Гржебиным — в Петербурге и затем в Берлине [2]. Последнее, третье издание отличается от предыдущего тем, что стихотворение *Акробат* вошло в него в редакции 1921 года: с добавлением шестой и седьмой строф и с поправкой в первой строфе. В этой окончательной редакции стихотворение, единственное из первых двух книг, вошло в 1927 в Собрание стихов [9], в книгу *Путем зерна*. Поэтому, говоря в Предисловии к [9]: «Юношеские мои книги "Молодость" и "Счастливый Домик" не включены сюда вовсе», Ходасевич не вполне точен. Текст *Счастливого домика* в настоящем Собрании воспроизведен по третьему изданию 1922 года, но стихотворение *Акробат* дано в редакции 1913 года. Это сделано для того, чтобы, избежав текстуального повтора, сохранить последнюю авторскую композицию книги *Путем зерна*, где это же стихотворение приведено нами в его окончательной форме. В первом, 1914 года, издании оно отсутствует вовсе.

Название *Счастливый домик* заимствовано Ходасевичем из стихотворения А.Пушкина *Домовому* (1819), ст.12:

Поместья мирного незримый покровитель,
Тебя молю, мой добрый домовой,
Храни селенье, лес и дикий садик мой
И скромную семьи моей обитель!

.
Останься, тайный страж, в наследственной сени,
Постигни робостью полуночного вора,
И от недружеского взора
Счастливый домик охрани!
.

Используя скрытую (и не замеченную современниками) цитату из Пушкина, Ходасевич ненавязчиво, но очень точно обозначает в названии книги свою программную установку: горацанское довольство малым, приятие прозы жизни. Этот способ виденья мира не изменится у него и в двух последующих книгах. Он вынесен поэтом из опыта юношеского экстремизма в искусстве и в жизни, обернувшегося тяжелым разочарованием. Название книги дает ключ к пониманию раздела *Лары*, цикла *Мыши* и всей книги в целом. Не лавры, но лары привлекают поэта: дружба с малыми божествами искупает прозу жизни. Но только покровительство верховных богов сообщает жизни высший смысл. Ходасевич осеняется именем Пушкина, уходит в «наследственную сень» — таков второй, не менее важный, смысловой пласт названия. Оно знаменует окончательный поворот Ходасевича к классицизму.

К третьему изданию книги (1922) был приложен выполненный тушью портрет Ходасевича работы Ю.П.Анненкова. На стр.5 значится посвящение: «ЖЕНЕ МОЕЙ АННЕ».

Анна Ивановна Ходасевич (1886-1960), вторая жена Ходасевича, сестра поэта Г.И.Чулкова. Ходасевич был ее третьим мужем, вслед за Е.Грационом и А.Я.Брюсовым. От первого брака она имела сына Гаррика (Эдгара) Грациона (1907-?). Ее второй муж — младший брат В.Я.Брюсова, друг Ходасевича, его одноклассник в 3-й Московской гимназии. А.И.Чулкова ушла к Ходасевичу от А.Я.Брюсова в 1911, по влечению сердца, променяв обеспеченность на бедность. Отношение Московской Духовной Консистории от 20.12.1910, закреплявшее развод поэта с М.Э.Рындиной, разрешало ему вступить в новый брак по истечении трех лет со дня решения епархиального начальства, т.е. не ранее осени 1913. Вероятно, тогда и был оформлен его брак с А.И.Чулковой. Однако уже к этому времени их супружество носило не вполне традиционный характер: оно не было скреплено обяза-

тельством взаимной верности. Физиологическая любовь, мало значившая для рано состарившегося Ходасевича, была одним из главных стимулов Чулковой, женщины столь же блестящей, сколь и легкомысленной. При всем том ее привязанность к Ходасевичу была истинной и глубокой, и она сохранила ее до конца своих дней. Окончательный разрыв произошел с отъездом Ходасевича за границу в июне 1922. Для Анны Ивановны он явился тяжелым потрясением. Н.Я.Мандельштам в своих воспоминаниях (*Вторая книга*, стр.161) резко осуждает Ходасевича за то, что он «...втихаря сматывается от женщины, с которой провел все тяжкие годы и называл женой...». Не возражая ей по существу, заметим, что Ходасевич уезжал с твердым намерением вернуться, а свое увлечение Н.Н.Берберовой, вызвавшее их совместный отъезд, сам назвал катастрофой (см. стр.205). «...назревало умыкание одного поэта одной грузинской княжной и поэтессой...» (О.Д.Форш. *Сумасшедший корабль*).

В настоящем Собрании *Счастливый домик* воспроизводится в новой орфографии.

Критика встретила первое издание книги благожелательно. В книжном обзоре Ю.Соболева сказано: «Много книг дала "Альциона", лучшей надо признать "Счастливый Домик" В.Ходасевича...» [81]. Г.Чулков [79] и Н.Бернер [82] первыми отметили возврат Ходасевича к традициям пушкинской школы. — Н.Бернер (1914) писал: «В книге "Счастливый Домик" поэт как бы являет собою цельный образ чистого и глубокого лирика. /.../ Поэт обнаруживает незаурядную меру вкуса. Он умело следует лучшим заветам Пушкинской школы. И в мастерстве стиха, в его выразительной простоте достигает большого совершенства. Неоправданных стихов в "Счастливом Домике" нет...» [82]. Он же проникательно отмечает в поэте «дар лаконизма» [82]. — Вот выдержки из рецензии Г.Чулкова (1914): «"Счастливый Домик" Ходасевича — книга стихов, изысканных и простых, в то же время: простота этих стихов, их скупая форма, их строгие рифмы, свидетельствуют о целомудренной мечте поэта, об его отречении от легких соблазнов внешней нарядности: он презирает звонкие "погремушки рифм" и "потешные огни" метафор. Точность и выразительность, как необходимые условия лирического творчества, интересуют Вл.Ходасевича прежде всего. Тот, кто понимает, что строгий "пассеизм" обеспечивает нас по крайней мере от неряшливости распушенных модернистов, претендующих на будущее, должен оценить старомодную книжку Вл.Ходасевича /.../. ...мелодия заявляет о своем праве на существование. Стихи Ходасевича испол-

нены мелодий своеобразных, нежных и грустных...» [79]. — Ряд замечаний, при столь же высокой оценке, делает Н.Гумилев (1914): «/.../ Мы не привыкаем ни к его мечте, ни к его интонациям, он является к нам неожиданный, с новыми интересными словами, и не засиживается долго, оставляя после себя приятную неудовлетворенность и желание новой встречи. Такими были и Тютчев, и Анненский, а как их любят! Ходасевич имеет право быть таким милым гостем. Он не скучен; он до такой степени не скучен, что даже не парадоксален. Когда с ним не соглашаешься и не сочувствуешь ему, то все-таки веришь и любишься. Правда, часто хотелось бы, чтобы он говорил увереннее, и жесты его были свободнее. /.../ В стихах Ходасевича, при несколько вялой ритмике и не всегда выразительной стилистике, много внимания уделено композиции, и это-то и делает их прекрасными. Внимание читателя следует за поэтом легко, словно в плавном танце, то замирает, то скользит, углубляется, возносится по линиям, гармонически заканчивающимся и новым для каждого стихотворения. Поэт не умеет или не хочет применить всю эту энергию ритмического движения идей и образов к созданию храма нового мироощущения...» [78]. — Б.Садовской (1914) отмечает «строгость поэта к самому себе: ценное качество, а в наши дни чрезвычайно редкое...» [77]. «У г.Ходасевича каждое стихотворение является тщательным изделием художника-ювелира: жемчуга его рифм полновесны; нигде нет лишних безобразящих придатков, дешевого стекляруса и кричащих стразов. Мы далеки от мысли ставить г.Ходасевича в ряды первостепенных поэтов нашего времени, но вполне применимо к нему известное изречение: он пьет из небольшого, но собственного стакана...» [77]. — А.Журин (1914) видит в *Счастливом домике* результат «упорного и строгого искусства», «гибкую легкость и кристально-прозрачную простоту...» [80]. Он отвергает мысль о подражательности стихов, включенных в книгу: «Это отрадная преемственность, родная связь с великим прошлым...» [80].

Внезапный успех третьей книги Ходасевича в 1920 принес ему всеобщее признание и почти славу. Интерес к его творчеству возрос настолько, что явилась необходимость в переиздании *Счастливого домика*, что и было начато З.И.Гржебиным в конце 1921. Второе издание принесло еще несколько откликов. Так, Вера Ключева пишет: «Мы так устали от "космических" образов пролеткультовцев и имажинистических образов Есенина и Компании, что возврат к Пушкинской простоте воспринимается нами как великая новизна. /.../ Имя Ходасевича, возрождающего классическую простоту стиха, стано-

вится все более и более популярным. "Счастливый Домик" вторая книга Ходасевича. В ней мы не найдем идей и образов "широкого масштаба". Мир Ходасевича — мал и неприметен. /.../ Но в этой простоте, в этой земной одомашненности жизни у Ходасевича чувствуется великая примиренность и великий покой. /.../ О чем бы он ни писал, он всегда высок. /.../ Образы Ходасевича не всегда ярки, но полны внутреннего смысла, дающего им характер философской лирики...» [87]. — П.Ольдин [85] сетует на лаконичность стихов Ходасевича, но называет их «редкими по музыкальной красоте произведениями» и добавляет: «сила стиха в изображении окружающего у Вл.Ходасевича поразительна...» [85]. — Б.Гусман [102] находит в *Счастливом домике* страну «тихого и ясного мечтательства», где «легко и просто текут дни». Его очерк, как и рецензия Ольдина, содержательно беден. — Вообще культура критики в начале 1920-х годов снижается. В числе счастливых исключений из этого правила — статьи Андрея Полянина (Софьи Парнок). В одной из них, в связи с третьей книгой Ходасевича, сказано: «Плен страшного "счастливого домика" с вещей звездой смерти, остановившейся над ним, изжит...» [93].

ПЛЕННЫЕ ШУМЫ

стр.41-55

Элегия

стр.41

Впервые — [25].

Г.Чулков (1914): «Элегия, которой открывается книга, пленяет своей мелодией, почти забытой в наши дни, но воскресшей в душе поэта как нечто живое и необходимое. Это не перепевы и даже не лирические воспоминания о найденных когда-то Пушкиным родниках поэзии: этот счастливый самостоятельный опыт утвердил мелодию в ее первоначальной чистоте...» [79]. Стихотворение это отмечено также Б.Садовским: см. прим. к стр.56.

18-22 Но может быть — не кроткою весной... — В этих стихах и затем в ст.26 прослеживаются отголоски недавнего (декабрь 1907) разрыва с М.Рындиной.

«Когда почти благоговейно...»

стр.43

4 С студентом под руку, — сестра... — Слово сестра здесь идет в значении: подруга (см. прим. к стр.15). Возможно, это обращение к А.И.Ходасевич.

17-20 Мы дышим легче и свободней... — В этих стихах Ходасевич как бы разворачивает и углубляет известное двустишие Е.Боратынского («Благословен святое возвестивший», 1839):

Две области: сияния и тьмы

Исследовать равно стремимся мы.

Духовное родство двух поэтов, впервые отмеченное А.Белым [90], дало спекулятивной критике — Н.Асееву [91, 98], Вл.Орлову [110, 115] — повод говорить о зависимости младшего от старшего.

Зима

стр.44

5-7 Скрипит обоз, дыша морозным паром... — П.Ольдин [85] цитирует эти три стиха, сопровождая их замечанием: «Талант поэта оживляет все, чего бы только ни коснулось его перо...».

«В тихом сердце — едкий пепел...»

стр.45

Это стихотворение — едва ли не последняя в творчестве Ходасевича дань символизму. Г.Чулков [79] отмечает его в числе лучших в книге.

Матери

стр.46

Стихотворение обращено к матери поэта, С.Я.Ходасевич (урожд. Брафман, скончалась в 1911), но его героиня, предположительно, —

Евгения Муратова, первая жена писателя П.П.Муратова (1881-1950), автора двухтомных *Образов Италии*, давнего друга Ходасевича. — Н.Бернер [82] называет это стихотворение в числе шести «особенно значительных пьес» *Счастливого домика*.

22 **Да пойдй, помолись Ченстоховской...** — Ходасевич вырос в католической семье. С.Я.Ходасевич была очень религиозна. Вот фрагмент из воспоминаний поэта о своем раннем детстве: «По утрам, после чаю, мать уводила меня в свою комнату. Там, над кроватью, висел в золотой раме образ Божьей Матери Остробрамской. На полу лежал коврик. Став на колени, я по-польски читал Отче наш, потом Богородицу, потом Верую. Потом мне мама рассказывала о Польше и иногда читала стихи...» [13, стр.73].

24 **И о женщине с черным бантом...** — Т.е. о Е.Муратовой. Ср. стихотворение *Портрет* (стр.68) и другие стихи из последнего раздела книги.

Закат
стр.47

Адресат стихотворения — М.Рындина. — Г.Чулков [79] и Н.Бернер [82] отмечают это стихотворение в числе лучших в [2].

«Увы, дитя! Душе неутоленной...»
стр.49

Впервые — [28].

Н.Гумилев [78] приводит это стихотворение целиком в качестве иллюстрации к следующему своему наблюдению: «Европеец по любви к деталям красоты, он все-таки очень славянин по какой-то равнодушной усталости и меланхолическому скептицизму. Только надежды или страдания могут взволновать такую душу, а Ходасевич добровольно, даже с некоторым высокомерием, отказывается и от того, и от другого: /цит. ст.1-8/».

2 **Снишься ль ты невыразимым сном...** — Н.Бернер [82]: «Нам представляется Владислав Ходасевич поэтом "невыразимого сна"....».

⁴ С букетом роз, кинжалом и вином... — Героиня является поэту в образе Марджаны из *Тысяча и одной ночи*. Но едва ли это следует считать стилизацией. Марину Рынди́ну, с которой связаны эти стихи, отличал капризный и причудливый нрав. Можно предположить, что здесь вполне реалистически названы детали одного из ее туалетов.

Душа
стр.50

Впервые — [25].

⁵ ...Живи на берегу угрюмом... — Ср. у А.Пушкина (*Поэту*, 1830):

...останься тверд, спокоен и угрюм.
Ты царь: живи один...

Возвращение Орфея
стр.51

Впервые — [25].

Г.Чулков [79] и Н.Бернер [82] относят это стихотворение к числу лучших в [2]. — Нам неизвестно о попытках поэта вернуть М.Рынди́ну, которые могли бы вызвать к жизни эти стихи.

¹⁴ Пленять зверей да камни чаровать... — Ср. у В.Брюсова (*Орфей и Эвридика*, 1904):

Тигра́м и ка́мням до́вольно служи́ла
Ли́ра тво́я, о Орфе́й!

Если это совпадение и не случайно, то сопоставляемые стихи больше говорят о различии, чем о сходстве двух поэтов. Выпустив в 1908 *Молодость*, Ходасевич освобождается от влияния Брюсова и Блока, заметных в первой книге. Однако поверхностный взгляд, основанный на таких совпадениях, а также инерция мысли позволяют, например, И.Н.Розанову (*Литературное наследство*, т.85, стр. 763) еще в 1916 относить Ходасевича к «стану Брюсова».

Голос Дженни
стр.52

Впервые — [29].

Эпиграф — из драмы А.Пушкина *Пир во время чумы (Песня Мери)*.

Г.Чулков [79] и Н.Бернер [82] отмечают это стихотворение в ряду наиболее удачных в книге. Тематически оно связано с предыдущим. Как и в *Возвращении Орфея*, тень подруги безвозвратно отнесена здесь в царство мертвых, но трагедия утраты в значительной мере уже пережита (в жизни автора прошло более двух лет), и для возвращения «скорбной тени» у героя не находится нужного слова (ст.9-16).

«Века, протекшие над миром...»
стр.54

Г.Чулков [79] отмечает это стихотворение в числе лучших в [2].

1 Века, протекшие над миром... — В третьем издании [2] (1922) этот стих читается так: «Века, прошедшие над миром...». Это не поправка, внесенная автором при переиздании книги, а опечатка. Об этом свидетельствует оглавление: в нем ст.1, заменяющий собою название стихотворения, дан в той же форме, что и в первом издании (1914). Ее мы и берем за основу.

¹⁷⁻²⁴ **Но горе! мы порой дерзаем...** — В.Клюева [87] цитирует эти две строфы, сопровождая их следующим замечанием: «Просветленность жизни роднит Ходасевича с классиками... "Суетной речи" не найдем мы у Ходасевича...».

«Жеманницы былых годов...»
стр.55

2 Читательницы Ричардсона... — Сэмюэл Ричардсон (1689-1761) — английский писатель, автор романов *Памела*, *Кларисса*, *История сэра Чарлза Грандисона*.

23 Прославит твой полет, Сатурн... — Сатурн, между прочим,

был еще и богом посевов (это ясно из этимологии имени), и, следовательно, — богом грядущего. Этим мотивирован переход от ст.19-20 к последней строфе.

ЛАРЫ стр.56-66

Н.Бернер [82]: «Помимо прекрасных стихов на темы античные, отмечаем простые строфы в отделе, носящем название: Лары. Стихи этой части книги овеяны светом своеобразной глубокой нежности...»

«Когда впервые смутным очертаньем...» стр.56

Б.Садовской [77]: «Некоторые стихотворения, видимо, более раннего периода, напоминают антологическую манеру Батюшкова и молодого Пушкина ("Элегия", "Когда впервые смутным очертаньем", "К музе") и показывают, какую благородную школу прошел поэт...»

К музе стр.57

Впервые — [26].

Об этом стихотворении (а также о стихотворении *Стансы* — см. стр.58) Н.Гумилев (1911) писал: «Свободными и верными штрихами, серьезностью и затаенной печалью пленяют стихи Владислава Ходасевича, к тому же безупречные по форме...» [76]. — Стихотворение обращено к М.Рындиной, выступающей в нем как бы аллегорией музы; оно тесно связано со стихами на стр. 4, 15, 20, 49.

8-9 В атласных туфельках, с девической косой... — Столь осязаемое воплощение музы есть следствие характерной аберрации, отмеченной нами в прим. к стр. 4.

11 И я шутя назвал тебя кузиной... — Этот стих является автор-

ским комментарием к происхождению названия второго раздела *Молодости* — *Кузина*, а также названия вложенного в этот раздел цикла — *Стихи о кузине*.

16 Припомни все: жасминные кусты... — Прямая реминисценция из стихотворения *Она*, стр. 20, указывающая на М.Рындину.

20 Увы, дитя! Я жаждал наслаждений... — Это очевидный интонационный повтор первого стиха со стр. 49. В 1924, говоря о Пушкине [8], Ходасевич назовет подобные самоповторы «экономией поэтических средств» и на их основе разовьет оригинальный метод идентификации адресатов лирики Пушкина. Этот метод применим и к самому Ходасевичу с его последовательным автобиографизмом. Мы пользовались им для установления круга стихотворений, связанных с Мариной Рындиной.

26-27 Разуверение — советчик мой лукавый... — А.Журин (1914): «...Ходасевич завершил своей лирикой первый этап творчества жизни, этап начинающейся зрелости после юношеской «жажды наслаждений», всегда неутолимой, приведшей поэта к горестному сознанию: (цит. ст.26-27)» [80].

27 И вечность — как кинжал над совестью моей... — Н.Бернер [82] первым отметил у Ходасевича «дар лаконизма». Позже М.Шагинян [95] даст ему более точное определение: дар афористической формулировки: «...тяготение к афоризму намечалось уже в "Счастливым домике"...» [95]. Афоризм, заключенный в ст.27, запомнился современникам. В 1922, спустя одиннадцать лет после первой публикации стихотворения, говоря о новой ответственности перед Богом, налагаемой на поэта революцией, Софья Парнок заканчивает свое рассуждение фразой: «Это — кинжал над совестью каждого из нас...» [93] — и даже не выделяет принадлежащие Ходасевичу слова курсивом или кавычками — как общеизвестные.

Стансы
«Святыня меркнувшего дня...»
стр.58

Впервые — [26].

Реплика Н.Гумилева [76], данная в прим. к стр. 57, относится также и к этому стихотворению. Г.Чулков [79] называет *Стансы* в числе наиболее удачных пьес *Счастливого домика*.

5 Живу один, зову игрой... — Ср. сонет А.Пушкина *Поэту* (1830): «Ты царь, живи один...».

В альбом
стр. 59

В издании 1914 это стихотворение дано под названием *Девушке утром*. (В альбом NN).

Поэту
стр.60

Эпиграф — из стихотворения Г.Державина *Анакреон в собрании*. Стихотворение *Поэту* обращено к Муни (Самуилу Викторовичу Киссину, 1885-1916), ближайшему другу Ходасевича в 1906-1916 годах (о нем см. [12] и прим. к стр.3). Оно было опубликовано в 1908, в «одной из <московских> газет» [12], за подписью: Елисавета Макшеева (псевдоним Ходасевича), с посвящением Александру Беклемишеву (псевдоним С.В.Киссина) [12].

Акробат
(Надпись к силуэту)
стр.61

Впервые — [30], с посвящением Е.А.Маршевой, актрисе театра «Летучая мышь», где она эти стихи читала. — Стихотворение приведено нами в редакции конца 1913 — начала 1914 годов: в такой форме, помеченное 1913 годом, оно вошло во второе издание *Счастливого домика* в 1921 [2]. Свою окончательную редакцию (см. стр.90) стихотворение получило в 1921: к нему были приписаны 4 стиха, и была внесена поправка в ст.2. В этой окончательной редакции оно вошло в третье издание *Счастливого домика* (1922), а позже, в 1927, — в Собрание Стихов [9], в книгу *Путем зерна*. Желание,

избежав повтора, сохранить последние авторские композиции книг *Счастливый домик* и *Путем зерна* побудило нас дать здесь раннюю редакцию стихотворения.

Акробат — единственное стихотворение из первых двух книг Ходасевича, включенное им в итоговое Собрание Стихов [9] летом 1927 года. У многих читателей оно вызывает в памяти (особенно в своей окончательной редакции) вступительную сцену из *Так говорил Заратустра* — возможно, это и дало повод Вл. Орлову сказать в 1966, что Ходасевич «срывается в самое убогое нищестанство» [110]. Впрочем, в 1976 Орлов от этой формулировки отказался, заменив ее такой: «Ходасевич срывается в самый плоский нигилизм...» [115].

В издании 1914 года *Акробат* отсутствует, а его место в разделе *Лары* занимает стихотворение *Новый Год*, отнесенное нами во второй том.

Милому другу
стр.63

Это стихотворение, так же как и следующий за ним цикл *Мыши*, более всех прочих в *Счастливом домике* связано с названием раздела (*Лары*) и всей книги. В.Клюева [87] справедливо увидела в этих нарочито приземленных и опресненных стихах не только «возврат к Пушкинской простоте», но и отмежевание «от "космических" образов пролеткультистов и имажинистических образов Есенина и Компании» (и, можно добавить, гигантомании футуристов). Ходасевич как бы напоминает современникам старую истину: предмет, на который направлено внимание художника, сам по себе безразличен для искусства, — важен азимут, под которым он художнику виден. О Ходасевиче В.Клюева говорит: «О чем бы он ни писал, он всегда высок...» [87]. — Стихотворение это отмечает также Б.Садовской [77].

4-5 Припомню все: и то, как жил любя,/И то, как жил потом... — Стихи эти являются интонационной реминисценцией известных стихов К.Батюшкова («Есть наслаждение и в дикости лесов...», 1819):

С тобой, владычица, привык я забывать
И то, чем был, как был моложе,
И то, чем нынче стал под холодом годов...

Мыши стр.64-66

Впервые — [32].

Этот цикл, дважды опубликованный в военном 1914 году (так же как и стихотворение «У людей война. Но к нам в подполье...» [31], не вошедшее в книгу, — см. второй том настоящего Собрания), вызвал раздражение патристически настроенных литераторов (Г.Иванов и др.). «Один критик», по выражению Вл.Орлова [115], назвал Ходасевича «маленьким Баратынским из подполья», — очень уж не вязались эти стихи со славой русского оружия. — Стихи этого цикла, вместе с предыдущим стихотворением *Милому другу*, наиболее полно выражают основной мотив книги, заданный уже названием: горацианское довольство малым. В их подчеркнутой простоте Вл.Орлов усматривает «вызов господствующей литературной моде» [115]. Так же приняли их и современники [87] (см. прим. к стр. 63). Но: «Мы рады ей, и если пришибленная разными "измами" художественная чувствительность слабо еще реагирует на эту величавую простоту, то только в силу своей изломанности и извращенности...» [87]. — Б.Садовской (1914): «Произведения... последних отделов <книги> обнаруживают самостоятельного мастера и дают г.Ходасевичу право на свое особое место в литературе. Таков весь цикл "Мыши", оригинальный по замыслу и по выполнению, стихотворения: "Милому другу", "Успокоение", "Вечер", "Рай"...» [77].

1. Ворожба стр.64

⁷⁻⁸ Только нужно жить потише,/Не шуметь и не роптать... — Эти стихи цитирует Вл.Орлов (1976) со следующими пояснениями: «темы и настроения Ходасевича в первых его сборниках... типично декадентские: самоизоляция от внешнего мира, разuverение в общей жизни, гипертрофия своего "я", домашняя достоевщина, поэтизация неприметного частного существования, подпольной "мышинной" жизни в стороне от бури века...» [115]. Гипертрофии своего «я» у Ходасевича мы не находим даже в *Молодости*, не говоря о последующих книгах; обвинение в домашней достоевщине оставлено нами на суд читателя; все же прочие обвинения без труда вменяются, например, позднему Пушкину, — который, тем самым, становится

почти типичным декадентом. Вл.Орлов обеспокоен утверждением А.Белого [90], М.Шагинян [95] и ряда других критиков о том, что Ходасевич — реалист. Беда советского литературоведа состоит в том, что при честном использовании его же собственных (уродливых) критериев Ходасевич действительно оказывается реалистом. Реалист он и с нашей точки зрения: его произведения **живут реальной жизнью**, вне связи с их **творцом**, не нуждаясь в концептуальных подпорках, — они жизнеспособны и, значит, **реальны**.

2. Сырнику стр.65

¹³ **Заведу ли речь я о Любви, о Мире...** — Здесь слово Мир употреблено в значении: Свет, Вселенная (Мирь в старой орфографии).

3. Молитва стр.66

Это стихотворение целиком приводит в своем очерке Б.Гусман [102], предпосылая цитате следующие строки: «В "счастливом домике" тихого и ясного мечтательства жил Владислав Ходасевич, затаив в сердце — пепел, в чаше — долгий, долгий сон", предаваясь забвению "страсти" и "тревоги", молясь добрым "ларам", маленьким домашним божкам...». Трагический смысл ст.7-8 ускользает от него, — но не от Софьи Парнок [93], назвавшей «счастливый домик» страшным.

ЗВЕЗДА НАД ПАЛЬМОЙ стр.67-79

Биографическим фоном этого раздела является увлечение Ходасевича Евгенией Муратовой (см. прим. к стр. 46) и их совместная итальянская поездка (1911). Царевна, черный бант, причуды — вот лексический ряд, указывающий на Е.Муратову. «Прекрасная ясность» этих стихов, их легкий полудетский тон — лучше любых описаний дают психологический портрет героини.

«За окном — ночные разговоры...»
стр.67

Это стихотворение отсутствует в издании 1914 года.

Прогулка
стр.69

⁶⁻⁷ Хорошо, что в этом мире/Есть еще причуды сердца... — В декабре 1921, даря Н.Н.Берберовой *Счастливый домик*, Ходасевич написал эти два стиха на книге, сразу вслед за дарственной надписью. До катастрофы (см. стр. 205) оставалось меньше месяца.

Досада
стр.70

Это стихотворение отнесено Н.Бернером [82] к числу шести «особенно значительных пьес» книги.

⁹⁻¹² А день бежит, и доцветают розы... — Н.Бернер сопровождает эту строфу замечанием: «Дар лаконизма свойственен поэту, равно как и умение находить часто последние черты тайных откровений...» [82]. В.Клюева [87] делает к ней ремарку: «Изображение горя, страсть не затемняются у него "суетностью"...».

Успокоение
стр.71

Впервые — [27].

⁵⁻⁸ День пройдет, сокроет в дымке знойной... — Реплика Н.Бернера [82], данная в примечании к стр. 70, относится также и к этим стихам.

Завет
стр.72

⁹ За то, что ты, царевна, в мире... — В мирь, т.е. на земле.

Февраль
стр.73

Ст.7-8 цитирует М.Шагинян (1922) как иллюстрацию к следующему своему наблюдению: «...тяготение к афоризму намечалось уже в "Счастливым домике", но там оно еще вычурно, еще слишком легко и изящно...» [95].

8 Возникает, как Феникс, предание... — Здесь угадывается реминисценция из Е.Боратынского (*Оправдание*, 1824-1827):

...двух виновных,
Не одного, найдутся имена,
В стихах моих, в преданиях любовных.

А.Журин (1914): «Г.Ходасевич пока не создал "предания", не изваял своих переживаний в образах самодовлеющих... Но это... не есть подражание. Это отрадная преемственность, родная связь с великим прошлым...» [80].

Ситцевое царство
стр.75-77

Эти стихи дали повод Б.Гусману (1923) говорить о ситцевых занавесках, отделявших поэта от живого мира вплоть до четвертой его книги, когда «беспокойный дух его» порвал их «и показал ему этот мир во всей его живой радости и скорби» [102]. Н.Бернер [82] относит *Ситцевое царство*, как и предыдущее стихотворение, к лучшим стихам книги.

1. «По вечерам мечтаю я...»
стр.75

Впервые — [25].

Вечер
стр.78

Впервые — [29].

По мнению Б.Садовского (1914), эти стихи, вместе с циклом *Мыши*, стихами *Милому другу*, *Успокоение*, *Рай* и другими «произведениями последних отделов» книги, «обнаруживают самостоятельного мастера и дают г.Ходасевичу право на свое особое место в литературе» [77].

ПУТЕМ ЗЕРНА

До появления (в 1927, затем в 1961) итогового Собрания Стихов В.Ф.Ходасевича [9,14] эта книга, представляющая собою третий сборник стихов поэта, выходила дважды: в 1920, в московском издательстве «Творчество» (изд. 1-е), и в 1921, в Петербурге, в издательстве «Мысль» (изд. 2-е, дополненное) [3]. Текст *Путем зерна* в настоящем Собрании дан по второму изданию Собрания Стихов [14], вышедшему в 1961 в Мюнхене, под редакцией Н.Н.Берберовой, с примечаниями автора и редактора. Этому изданию, как и [9], предпосланы следующие строки:

[Предисловие В.Ф.Ходасевича к Собранию Стихов, 1927]

Отсутствие моих книг в продаже побудило меня к изданию этого сборника. Он составлен из «Путем зерна» и «Тяжелой лиры», к которым, под общим заглавием «Европейская ночь», прибавлены стихи, написанные в эмиграции. Юношеские мои книги «Молодость» и «Счастливый домик» не включены сюда вовсе.

В.Х.

Н.Н.Берберова пишет в предисловии к [14]: «На моем экземпляре Собрания Стихов Ходасевич в свое время по моей просьбе написал комментарий к каждому стихотворению. Иногда это только дата, иногда — целый рассказ...». Таким образом, примечания Ходасевича не предназначались для печати: во всяком случае, не были написаны специально для какого-либо издания его стихов. Тем не менее, следуя Берберовой, мы приводим их полностью. При чтении их следует помнить, что они набрасывались на страницах подряд

пролистываемой книги, каждый фрагмент — под соответствующим стихотворением, непосредственно вслед за обозначенным там годом его написания.

Последняя авторская редакция *Путем зерна* отличается от предыдущей: стихи перегруппированы, добавлено четыре стихотворения, исключено семь — эти исключенные стихи даны нами в Дополнении, стр. 189-196. Одно из добавленных стихотворений — *Акробат* — входило прежде в *Счастливым домик*. В структуру *Путем Зерна* оно вошло в окончательной редакции 1921 года, приведенной на стр. 90 настоящего Собрания (см. также прим. к *Счастливому домику*, к стр. 61 и 90).

Название книги имеет антимодернистский смысл: это возражение против спекулятивного, не обеспеченного внутренним созревaniem искусства; это также возражение против насильственной режиссуры, интерпретирующей и поправляющей божественное творение в угоду сиюминутному, — режиссуры локальной: самоискажение личности, и глобальной: извращение истории. Это отрицание гигантомании в искусстве и жизни. Ходасевич отворачивается и от художника, становящегося на котурны, и от египетских пирамид истории: он ищет великое в малом. Письма М.Горького к Ходасевичу [105] свидетельствуют о том, что Ходасевич был противником прогресса, вероятно, усматривая в нем экспансию вечно мира, развитие методов в ущерб идеям, предметов — в ущерб духу... — Первоначально Ходасевич собирался назвать книгу *Фарфоровый венок* [35].

Второе издание *Путем зерна* (1921) вышло с посвящением: Памяти Самуила Киссина. Самуил Викторович Киссин (1885-1916) — поэт, близкий друг Ходасевича в 1906-1916 годах (подробнее о нем см. прим. к стр. 3).

Вл. Орлов (1966) пишет: «Подъем творчества Ходасевича — неожиданный и высокий — пришелся на начало 20-х годов...» [110]. Это неверно. В действительности 1920 год, с выходом первого издания *Путем зерна*, принес Ходасевичу лишь широкое и давно им заслуженное признание, которое не было неожиданностью для прощательной критики. Начало упомянутого подъема датируется 1909-м годом. В 1910-е годы, представленные во второй и третьей книгах, мы видим уже зрелого Ходасевича. Исключив из Собрания [9] все ранние свои стихи, Ходасевич сам дал повод к подобного рода суждениям. Им тотчас воспользовалась тенденциозная критика.

Отзывы современников не оставляют сомнения в том, что выход *Путем зерна* был воспринят ими как событие в русской поэзии. В одной из первых рецензий пушкинист П.Губер (1921) пишет: «Из черт, для него характерных, на первом месте надлежит отметить безупречный, необычайно острый вкус. /.../ Целомудренная сдержанность... отличает музу Ходасевича. Он всегда был поэтом для немногих... Шумный, широкий успех не был и не будет его уделом, но внимательный, неторопливый читатель без труда откроет в его строках многое такое, чего нельзя найти ни у кого другого — совершенно индивидуальный оттенок интимности, печальную серьезность, наконец, отпечаток своеобразного, проницательного ума. /.../ Ходасевич начал свою литературную деятельность в кружке символистов... Но сам он нисколько не символист...» [83]. — П.Ольдин (1922) отмечает «поразительную силу» Ходасевича «в изображении окружающего» [85]. — Профессор Б.Вышеславцев (1922) видит в *Путем зерна* «...зрелую мудрость, управляющую формой, и подчиняющую себе форму» [84]. Он же: «Мастерство и техника здесь спрятаны; во внешних украшениях стиха автор сдержан и даже скуп. Зато образы его поэзии схватывают нечто существенное и очаровательное... все он умеет преображать и поднимать в сверх-мирный план чистой поэзии. Тот, кто может это сделать, есть настоящий художник. /.../ Его искусство ни на кого не похоже и ни у кого не заимствовано. Все это подлинное золото, добытое из недр индивидуальной души...» [84]. — Б.Скворцов (1922) говорит о первом издании книги: «...33 стихотворения представляющие несомненный интерес для всякого любителя истинной поэзии. Они искусны, образны, немного философичны и немного старомодны... И мудрость их, и старомодность — какие-то четкие и глубокие. /.../ ...рифмы Ходасевича, всегда звучны, полны и лишены какой бы то ни было претенциозности. Фразы поэта точны и классически ясны, он владеет доступной немногим тайной — сочетать красоту с простотой...» [88]. — По словам Софьи Парнок (1922), Ходасевич находится «в большом пути... несет обет бескорыстия и самозабвения... и вот он — драгоценный залог того, что жертва принята: слово достигает кристалльности формулы...» [93]. — Очень важные и точные замечания делает М.Шагинян (1922): «Искусство, строгое к себе, неизбежно строго и к тому, кто его воспринимает. Отсюда — непопулярность такого искусства в среде "широкой публики". Владислава Ходасевича почти

не знают. Стихи его вряд ли могут стать "модными". Но тот, кого не отпугнула важная и слегка презрительная... требовательность этой поэзии, навсегда влюбится в ее острую, колючую терпкость. /.../ Лирический путь Ходасевича обратен обычному пути поэта... Он никогда не был молод; уста его никогда не глаголили от избытка, окрашивающего каждую птицу на току. /.../ Итак, вот путь: сбережение и накопление; чем дальше — тем больше. Начало без молодости, в ущербе — приходит к полной, насыщенной зрелости; талант не растрочен, но отдан в рост и умножен. /.../ Афоризм — вечен; он удается только поэту с напряженным духовным опытом. Между тем у Ходасевича афористичны целые строфы, целые стихотворения. /.../ В "Путем зерна" афоризм становится тяжелым, подобным резьбе по камню, неподвижным...» [95].

Скептически отнесся к *Путем зерна* Г.Адамович (1922): «Стихи Вл.Ходасевича надолго задерживают внимание, хотя и не сразу останавливают его. /.../ Ходасевич едва ли не самый умелый из русских поэтов нашего времени... Он всегда говорит именно то, что хочет и как хочет, — свойство очень редкое. /.../ Стихотворения Ходасевича чрезвычайно отчетливы. /.../ Его выражения точны. Чувство меры в подыскании эпитетов никогда не изменяет ему. Выбор слов безупречен. /.../ Но, как большею частью бывает, стилистическая отчетливость куплена Ходасевичем ценой утраты звукового очарования. Его слушаешь почти как рассказчика. И, надо добавить, рассказчика пленительного в частностях и несколько вялого в целом. /.../ Он реалист, — очень зоркий и правдивый. Но внешность нашей жизни в его передаче теряет краски и движение. /.../ Всякий не потерявший чутья человек, прослушав отдельные вещи Ходасевича, признает, что это прекрасные стихи. Но, прочтя его книгу, он задумается, может быть, живое ли это творчество...» [94]. — После выхода *Тяжелой лиры* (1922) к немногим добросовестным скептикам присоединит свой голос и Ю.Тынянов [104].

Путем зерна стр.83

Прим. В.Ф.Ходасевича:

23 декабря, вечером, за чаем.

Проф. Б.Вышеславцев (1922) назвал это стихотворение лучшим в книге: «Оно есть основная мысль сборника, его центр, его гордость. Приведу его целиком, чтобы каждый, читающий эту заметку, мог вместе со мной справедливо увенчать поэта: ...» [84]. П.Губер [83] задается вопросом: «Что означает не совсем понятное заглавие "Путем Зерна"?» — и отвечает на него, цитируя ст.7-8 и 11-12. С.Парнок сопровождает ст.7-12 замечанием: «Благословляющий — благословен, и вот он — драгоценный залог того, что жертва принята: слово достигает кристалльности формулы...» [93]. Б.Скворцов первым отметил значение медитации в творческом методе Ходасевича: «В эти мгновения все, что он видит и слышит, преобразается каким-то мудрым чудом, обращенное внутрь себя созерцание не нуждается уже ни в словах, ни в мыслях; исчезает телесная оболочка, и все предстает в перемещенном виде. И в эти мгновения — он поэт по преимуществу, и в эти мгновения он идет "путем зерна", умирающего в черной земле, чтобы в положенный срок прорасти побегам: /цит. ст.7-12/...» [88]. — В статье *Памяти Ходасевича* (1979) В.Бетаки пишет: «Сверхидея книги, как в зерне, содержится в первом же стихотворении ее: /цит. ст.7-12/. В этих обнаженных, строгих, классически точных строках — вся мысль книги. Та мысль, которая в Евангелии сформулирована в трех неисчерпаемых словах: "смертью смерть поправ"...» [116]. — Не менее важен, на наш взгляд, и другой смысловой пласт стихотворения (и всей книги), заданный уже в названии: проповедь естественного хода вещей, отказ от модернизма и новаторства, ведущих, в конечном счете, к насилию над личностью.

Слезы Рахили стр.84

Прим. В.Ф.Ходасевича:

5-30 октября <1916>. Днем промок у Смоленского рынка.
30 только отделал. Вскоре читал за ужином у Лосевой

(первая встреча в Москве с Осоргиным, приехавшим из Италии). Чулков упрекнул в пораженчестве.

Впервые — [35], в числе пяти стихотворений под общим названием *Из книги «Фарфоровый венок»*.

Упомянутый в прим. Ходасевича **Михаил Андреевич Осоргин** (наст. фамилия: Ильин) (1878-1942) — беллетрист, литературовед, библиофил, журналист (выступал в конституционно-демократической прессе и у социалистов-революционеров). В 1906-1916 и в 1922-1942 жил в эмиграции. — **Георгий Иванович Чулков** (1879-1930) — известный поэт, шурин Ходасевича.

¹³⁻¹⁴ **Горе нам, что по воле Божьей/В страшный час сей мир посетити...** — Возражение Ф.Тютчеву, сказавшему о Цицероне (1830):

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!

Опыт Ходасевича непосредствен: в отличие от Тютчева, он сам жил «среди бурь гражданских и тревоги». Восточный мудрец из Нобелевской речи А.Камю, моливший Бога не допустить его жить в интересную эпоху, разделяет мысль Ходасевича. — Эти два стиха цитирует в своей статье Б.Вышеславцев (1922) со следующим комментарием: «Часто я думал, что в нас, славянах, есть что-то индусское. И вот здесь, в этих стихах, я узнаю душу Индии, быть может, забывшую о своем происхождении... То же чувство мирового страдания и зла...» [84].

Ручей
стр.85

Прим. В.Ф.Ходасевича:

30 января — вторая строфа. Первая — летом 1908, в Гирееве. С этих стихов началась моя дружба с Гершензоном. Когда я вторично читал их по просьбе Герш-на Вяч. Иванову, тот угадал, что между 1 и 2 строфой прошло много времени. Это — последние стихи, прочитанные мной Муни, дня за два до его последнего отъезда из Москвы. Он зло улыбнулся и сказал: «Ну, валяй, валяй в

антологическом духе. А мне уж не до того». Последний стих переделан летом 1927.

Впервые — [34], затем [36].

Михаил Осипович Гершензон (1869-1925) — известный историк литературы, эссеист, друг Ходасевича. Воспоминания о нем вошли в *Некрополь* [12].

Муни — Самуил Викторович Киссин (1885-1916), поэт, друг Ходасевича. Был призван в 1914, в первые дни войны. Описанный в прим. Ходасевича эпизод происходит во время его армейского отпуска. Вернувшись в тыл действующей армии, в Минск, Муни застрелился 28.03.1916.

Б.Скворцов говорит об этом стихотворении: «Разве не напоминает это лучшие образцы Жуковского и поэтов Пушкинской плеяды?...» [88].

12 Своей судьбы не узнавая... — В редакции 1916 года этот стих читался так:

Ничьей судьбы не прозревая.

Поправка внесена при подготовке Собрания Стихов [9].

«Сладко после дождя теплая пахнет ночь...»
стр.86

Прим. В.Ф.Ходасевича:

8 янв., ночью, на переплете коленкоровой тетради, красными чернилами. В основу метра положено "Ехеги monumentum". Диссонансы тоже взяты оттуда: "repentinus — innumerabilis".

Горацианство Ходасевича выражается, таким образом, не только в выборе ракурса, но и непосредственно: в метре, имитирующем асклепиадов стих *Памятника* (Carm.III, 30). — В издании 1922 года [3] это стихотворение дано с пометкой 1918, а не 1917, как в [14]. — Б.Скворцов (1922) пишет об этих стихах: «Лиризм у Ходасевича отличается каким-то интеллектуализмом, он редко интимен. Но зато свою редкую интимность он умеет порою создать

одним штрихом, одной строчкой, как это наблюдается, например, в прелестном стихотворении, помещенном на стр.12. Привожу его целиком: ...» [88].

«Брента, рыжая речонка...»
стр.87

Прим. В.Ф.Ходасевича:

В Москве, весной начато. Продолж. в ПБ, 1921. Конечно 17-мая 1923, в Saarow'e. Об итал. поездке 1911.

Эпиграф — из *Евгения Онегина*: Глава первая, XIX, ст. 1-2. В изд. 1961 в ст.1 и 6 используется форма: **реченка**; мы даем современную норму: **речонка**. — Стихотворение это не входило в первые две редакции *Путем зерна* [3]. Оно завершено в Германии. Об этом времени Ходасевич сообщает: «Некоторое время я прожил в Берлине, а затем в октябре (1922) Горький уговорил меня перебраться в маленький городок Saarow, близ Фюрстенвальде. Он там жил в санатории, а я в небольшом отеле возле вокзала. Мы виделись каждый день, иногда по два и по три раза. Весной 1923 г. я и сам перебрался в тот же санаторий...» [12]. Дружба двух писателей длилась около семи лет: с осени 1918 до начала лета 1925. Не менее полутора лет они прожили под одной крышей. В 1923-1925 в берлинском издательстве «Эпоха», принадлежавшем меньшевику С.Г.Каплуну-Сумскому, выходил журнал *Беседа* под их совместной редакцией. В эти годы Горький находился под сильным влиянием человеческой и творческой индивидуальности Ходасевича. Н.Н.Берберова вспоминает: «...перед Ходасевичем он временами благоговел...» [113]. — В Саарове, между прочим, Ходасевич написал книгу *Поэтическое хозяйство Пушкина* [8] (об этом см. Архив Горького, т.7, стр.47).

Мельница
стр.88

Прим. В.Ф.Ходасевича:

В Москве, весной начато. Конч. — 13 марта 1923, в Saarow'e.

Впервые — [47].

Стихотворение завершено в Саарове, где Ходасевич жил с октября 1922 по ноябрь 1923 в тесном контакте с М.Горьким (об этом см. прим. к стр. 87). Той же датой, что и окончание стихотворения, т.е. 13.05.1923, помечено письмо М.Горького к М.Л.Слонимскому, в котором читаем: «Ходасевич пишет совершенно изумительные стихи...» [108]. — Стихотворение не входило в первые два издания [3].

Акробат
(Надпись к силуэту)
стр.90

Прим. В.Ф.Ходасевича:

Конец <1913> или начало 1914. Одно из трех стихотворений к 3 силуэтам какого-то немецкого художника; для «Летучей мыши». Там их читала Елена Маршева, без последних 4 стихов, приписанных в 1921 г.

Впервые — [30], в цикле из двух стихотворений под общим названием *В немецком городке*, с посвящением Е.А.Маршевой.

Летучая мышь — первый и лучший в России тетр миниатюр (1908-1920), организованный Н.Л.Тарасовым и Н.Ф.Балиевым. Первоначально (до февраля 1910) был закрытым кабаре артистов МХТ. Распался вскоре после эмиграции Балиева, его бессменного руководителя.

Стихотворение приведено здесь в окончательной редакции 1921 г.; ранняя редакция 1913-14 дана на стр. 61 (см. прим. к ней). В ранней редакции стихотворение входило во второе издание *Счастливого домика* [2], в окончательной — в третье издание [2], и затем, уже в структуре *Путем зерна*, в Собрание Стихов [9, 14].

«Обо всем в одних стихах не скажешь...»
стр.91

Прим. В.Ф.Ходасевича:

14 дек. — в альбом, подаренный А.И-не, по ее просьбе.

Владелица альбома — Анна Ивановна Ходасевич (Чулкова), вторая жена поэта. В первые два издания книги [3] это стихотворение входило под названием *Подруге*.

«Со слабых век сгоняя смутный сон...»
стр.92

Прим. В.Ф.Ходасевича:
30 августа, вечером, в изнеможении.

«В заботах каждого дня...»
стр.93

Прим. В.Ф.Ходасевича:
14 дек. 1916 — 1917, 7 янв., днем, в страшный мороз,
на подоконнике. Окно было сплошь затянуто льдом. Только что кончил — пришел Гершензон.

В связи с этим стихотворением Б.Скворцов отмечает важную черту творчества Ходасевича: «В противоположность четкости восприятия внешнего мира, себя поэт часто сознает раздвоенным, причем обе половины его живут своей обособленной жизнью...» [88]. Ту же раздвоенность, хотя и не столь ясно осознанную, находим у Боратынского, Тютчева и позднего Пушкина. Не общий ли это знак музыки, склонной к философской созерцательности? Молодость синкретична: быть может, это двуединство сознания — одно из проявлений духовной зрелости.

Про себя
стр.94-95

По своему художественному совершенству и психологической глубине, эти два сонета — одна из вершин в творчестве Ходасевича. По форме это внутренний диалог, автоапологетика. Хотя первый из сонетов обращен к женщине, а второй — к мужчине, можно предположить, что реальный оппонент, стоящий перед внутренним взором поэта, — это его друг Муни, погибший более чем за два года до написания этих стихов. Эта «на воздушных путях двух голосов перекличка» (Ахматова) продолжалась у них, как у Мандельштама с Гумилевым, многие годы считая от последней разлуки (см., например, стихотворение *Ищи меня*, стр. 111). — Название *Про себя* имеет, таким образом, еще и второй смысл: не только о себе, но и внутреннее проговаривание про себя.

I. «Нет, есть во мне прекрасное, но стыдно...»
стр.94

Прим. В.Ф.Ходасевича:

1918. 30 нояб., за чаем, вечером.

⁵⁻⁶ И вот — живу, чудесный образ мой/Скрыв... — М.Шагинян (1922) отмечает «одну особенность» Ходасевича: «Лирика Ходасевича занята была не открытием, а закрытием души. Как недоносок, душа эта ежилась от незащищенности; ей нужны были маска, футляр, видимость; надо было "отвести читателю глаза", рассказать о себе обходным, кружным путем, косвенно. /.../ а зато нет ужасного гипноза первых песен, который ведет многих, и прекрасных, поэтов к подражанию самому себе и к перепеву своей "раскрытой души"..." [95].

⁷⁻¹⁴ Взгляни, мой друг: по травке золотой... — В ст.7, 10, 11 и 13 были внесены изменения. Чтобы не перечислять их, приведем последние восемь стихов из второго (1921) издания [3]:

Взгляни сюда: по травке золотой
Ползет паук с отметкой крестовидной.
Пред ним ребенок спрячется за мать,
И ты, мой друг, спешишь его согнать
Рукой пугливой с шейки розовой.
И он бежит от гнева твоего,
Быть может, сам не ведая того,
Что значит знак его спины мохнатой...

II. «Нет, ты не прав, я не собой пленен...»
стр.95

Прим. В.Ф.Ходасевича:

17 янв. <1919>, за чаем, вечером.

Ст.3-4 приводит проф. Б.Вышеславцев (1922) как один из примеров обретения поэтом «своего истинного, высшего я, обладающего "бесплотным взором", к которому ученый брамин прежде всего старается привести своего ученика... Поэт передает это чувство неоднократно...» [92].

Сны
стр.96

Прим. В.Ф.Ходасевича:

17 дек. <1917>, перед обедом. Только что кончил, пришел Гершензон, радостный: рассказывал о только что (?) изданном декрете о закрытии банков.

7-8 О, как еще ты в проблесках минутных... — В [3] эти стихи читаются так:

О, как еще в сих проблесках минутных
Ты слеп и глух!

11-12 Учись дышать и жить в ином пределе... — Софья Парнок предпосылает этим стихам следующее: «Поэт поднял глаза под взглядом смерти и голос его, одолев лихорадочную дрожь, повелевает "несовершенному духу"..."[93]. Б.Вышеславцев цитирует эти два стиха, отмечая у Ходасевича индусское «понимание сна как погружения в иную, более подлинную реальность»: «В глубоком сне без сновидений наше малое я сливается с вселенским я (с Брахманом) как с своею сокровенной сущностью... Так учат Упанишады, постоянно возвращаясь к этой мысли о сущности сна и смерти как особых состояний сознания, и притом состояний более совершенных, чем житейское бодрствование. /.../ Только не подумайте, что наш поэт начитался каких-нибудь Йогов, что он захвачен Теософской модой. Ничего этого нет» [84].

«О, если б в этот час желанного покоя...»
стр.97

Прим. В.Ф.Ходасевича:

12 марта — 18 дек<абря 1915>. С ужасным трудом писалось и вышло мерзко.

Впервые — [34].

Б.Скворцов (1922): «Фразы поэта точны и классически ясны, он владеет доступной немногим тайной — сочетать красоту с простотой. Вот примеры: /цит. ст.7-8/...» [88].

«Милые девушки, верьте или не верьте...»

стр.98

Прим. В.Ф.Ходасевича:

5 авг. <1916>, в Коктебеле. Но первые 7 строк — еще в 1912 году, утром в постели, на Знаменке, в тяжелые дни.

Впервые — [34a].

Весной 1916, сообщает В.Ф.Ходасевич (1922), «сразу потряслись надо мной две беды: умер самый дорогой мне человек, С.В.Киссин (Муни), а я заболел туберкулезом позвоночника. Тут зашили меня в гипсовый корсет, мытарили, подвешивали и посылали в Крым. Прожил месяца три в Коктебеле, очень поправился, корсет сняли...» [62]. — Заболеванию предшествовала травма: в 1915, на именинах у поэтессы Любови Столицы, Ходасевич упал и сместил себе позвонок. — Тяжелые дни, в которые начато стихотворение, исчисляются с 1911. Против этого года в автобиографическом наброске поэта (см. стр. 204) читаем: «Пьянство. Карты. Италия. СПб. Смерть мамы. Босючество. Ньюра. Смерть отца. Голод. Зима в Гирееве» [113]. К этому же году относится попытка самоубийства, предотвращенная С.В.Киссиным. — «Однажды, осенью 1911, в дурную полосу жизни, я зашел к своему брату. Дома никого не было. Доставая коробку с перьями, я выдвинул ящик письменного стола и первое, что мне попало на глаза, был револьвер. Искушение было велико. Я, не отходя от стола, позвонил Муни по телефону: — Приезжай сейчас же. Буду ждать двадцать минут, больше не смогу. — Муни приехал...» [12, стр. 116]. — Этим стихотворением М.Шагинян (1922) иллюстрирует следующее свое заключение о *Путем зерна*: «Высокую и простую важность придает стихам тема смерти, единственная тема, где чувствуется еще неиспеленное интимно-личное. Она как бы осеняет весь сборник: /цит. ст.3-4/. И даже соловей, даже символ пения становится у него вестником безвыходности: /цит. ст.5-8/...» [95]. — Тема смерти полузапретна в советской литературе как напоминание о силе, стоящей над государством и неподвластной сиюминутному, суетному. Связанные с нею стихи Ходасевича являются поэтому действительно антисоветскими. Но едва ли не только к ним и сводятся навязшие в зубах «антисоветские выступления» поэта [108, 107, 110, 115]. Поразительно, до какой степени Ходасевич

остался чужд суетному в век всеобщей суеты. Его примечания к стихам хорошо иллюстрируют это качество.

Швея
стр.99

Прим. В.Ф.Ходасевича:
3 марта — 30 дек<абр 1917>.

П.Ольдин (1922) видит в этом стихотворении «удивительно жизненную картинку», наполненную «своей как бы осязаемой жизнью...» [85]. — Замечательно, что изобразительные средства здесь — минимальны, как и обычно у Ходасевича.

На ходу
стр.100

Прим. В.Ф.Ходасевича:
7 февраля <1916>, на Арбате, дома кончил. Снег — огромными хлопьями.

Впервые — [34], затем [36].

Даже и внимательный читатель не сразу замечает, что это стихи о смерти. — В своей скептической в смысле оценки достижений Ходасевича, но прекрасной по языку и стилю рецензии Г.Адамович (1922) пишет: «Образы наиболее тесно связанные с обыденнейшими зрительными представлениями, — трамвай или вывеска, — у него всегда будто бы подчеркивают **хрупкость** <выделено мною: ср. ст.7, — Ю.К.> и призрачность всего видимого мира. Настолько непохожа его реалистическая передача жизни на то, что видит вокруг себя каждый человек, счастливый или несчастный, веселый или грустный, влюбленный или любимый, но только живой и участвующий в жизни, а не устало косящийся на нее, что действительно его поэзия кажется утонченнейшим видом стилизации...» [94]. — Ощущение хрупкости предметного мира открывается человеку через страдание и сострадание, его основой является личный душевный опыт, неизбежно мучительный. Из русских поэтов второй

половины XX века это ощущение знакомо А.Кушнеру (*Приметы*, Сов. писатель, Л., 1969):

На свете, где и так все держится едва,
На ниточке висит, цепляется, вот рухнет...

Утро
стр.101

Прим. В.Ф.Ходасевича:

16 ноября <1916>, утром. После обморока.

Впервые — [35], озаглавленное *Дома*, в числе пяти стихотворений (см. также стр. 84, 102, 103 и 110 наст. Собрания) под общим названием *Из книги «Фарфоровый венок»*.

В Петровском парке
стр.102

Прим. В.Ф.Ходасевича:

27 нояб<ря 1916>. Видел это весной 1914 г., на рассвете, возвращаясь в автомобиле из ночного ресторана в Петр.Парке.

Впервые — [35], затем — [36].

Смоленский рынок
стр.103

Прим. В.Ф.Ходасевича:

12-13 декабря <1916>. С этих стихов началось у нас что-то вроде дружбы с Мар.Цветаевой. Она их везде и непрестанно повторяла.

Впервые — [35], затем — [36].

Стихи М.Цветаевой опубликованы в *Весеннем салоне поэтов* [36] (1918) непосредственно вслед за стихами Ходасевича. Возможно, эта публикация под одной обложкой и послужила началом дружбы, которая, даже считая от 1918, длилась затем более двадцати лет. Она не была ни тесной, ни неизменной. Есть основания полагать, что Цветаева приняла на свой счет стихотворение Ходасевича «Жив Бог! Умен, а не заумен...» (1923). В тридцатые годы, после периода взаимного охлаждения, поэты вновь сближаются. Цветаева, например, была на 50-летнем юбилее Ходасевича в 1936, где «ви-

дела весь Монпарнас», — об этом она сообщает в письме к З.А.Шаховской [114]. Подробнее о взаимоотношениях двух поэтов см. книгу проф. Симона Карлинского *Марина Цветаева* (1966, по-английски, или: журнал *Часы* №16, 1979, Л. (самиздат), где напечатаны фрагменты этой работы в переводе Е.Янушевича). — Г.Адамович (1922) пишет о *Смоленском рынке*: «Когда поэт, проходя по толкучке, шепчет: /цит. ст.17-20/, кажется, что вот-вот порвется перед его глазами и нашими, может быть тонкая оболочка видимого мира, как на рассвете разрываются облака... Поэзия Ходасевича, при всех ее редких качествах, ее честности и искренности, наводит все же на многие недоумения. /.../ Не в том ли причина этого, что Ходасевич своими стихами ничего в мире "не убавляет и не прибавляет" — поэзия же начинается только с этого? /.../ Стихотворение, удачное или нет, но подлинно-живое всегда будоражит мир, даже такой в конец взбудораженный, как наш...» [94]. — Эти наблюдения последовательно дополняет Ю.Тынянов: «Смоленский рынок в двухстопных ямбах Пушкина и Баратынского и в их манере, это, конечно, наша вещь, вещь нашей эпохи, но как стиховая вещь, — она нам не принадлежит. Это не значит, что у Ходасевича нет "хороших" и даже "прекрасных" стихов. Они есть, и возможно, что через 20 лет критик скажет о том, что мы Ходасевича недооценили. /.../ Мы сознательно недооцениваем Ходасевича, потому что хотим увидеть свой стих, мы имеем на это право. /.../ Его стих нейтрализуется стиховой культурой XIX века...» [104]. — Оба замечательных критика присягают на верность своему «в конец взбудораженному миру», любимыми — поначалу — детьми которого они явились. Их сыновние чувства выражаются в диалектической приверженности к своей эпохе, в вере в ее исключительность; их темпераменты находятся в резонансе с темпераментом времени. Метафизическое понимание мира, а вместе с ним и муза Ходасевича, тяготеющая к вечному, к совершенству, — кажутся им безнадежно устаревшими. Любопытно видеть, с какой непосредственностью талантливейший Тынянов обнаруживает беспокойство за судьбу своей оценки. Столь же замечательной представляется в ретроспективе и позиция Адамовича с его жаждой новизны — *un nouveau frisson* [94] — во что бы то ни стало.

По бульварам
стр.104

Прим. В.Ф.Ходасевича:

25/III — 17/IV<1918>, насилу выдал из себя для альманаха Цетлиных. 3-й стих — из какого-то стих. Муни.

Впервые — [36].

У моря
(«А мне и волн морских прибой...»)
стр.105

Прим. В.Ф.Ходасевича:

Июль, Коктебель — 8 дек<абря 1917>, Москва.

Впервые — [37], без названия.

Стихотворение начато во время второй поездки в Крым на лечение (см. автобиографические заметки на стр. 203).

Эпизод
стр.106

Прим. В.Ф.Ходасевича:

25-28 янв<аря 1918>. Впервые читал на вечере у Цетлиных под «бурные» восторги Вяч.Иванова (с воздеванием рук). Потом с этими стихами ко мне приставали антропософы. Это по ихнему называется отделением эфирного тела. Со мной это случилось в конце 1917, днем или утром, в кабинете. 25 янв. написал целиком, и тотчас за ним — «К Анюте» (см. стр. 125). Один из самых напряженных дней в моей жизни. 28-го января только отделал.

Впервые — [37], под одной обложкой с А.Блоком, А.Белым, И.Буниным и В.Брюсовым. — Об этом стихотворении Б.Вышеславцев (1922) пишет: «Далее, совершенно индусское переживание изображено в стихотворении "Эпизод", переживание выхода за пределы эмпирического я...» [84]. — М.Шагинян (1922): «...у Ходасевича афористичны целые строфы, целые стихотворения (вся серия: "Эпизод", "Второе ноября", "Полдень", "Обезьяна", "Дом")...» [95]. — Перечисленные Маризттой Шагинян стихотворения не образуют в структуре *Путем зерна* цикла или серии, однако они явственно отделяются от прочих стихов книги. Они написаны нерифмованным ямбом с варьирующим числом стоп в стихе. В них (вероятно, впервые в русской поэзии) намеренно употреблены шестистопные ямби-

ческие стихи без цезуры — новшество, одно время приписывавшееся Н.Заболоцкому. Наконец, в отличие от всех прочих стихов книги они по преимуществу эпичны: название *Эпизод* подходит к каждому из них, каждое содержит элемент повествования с позиции наблюдателя, поднятого над происходящим; изображаемое протекает под «обратным взором» героя. — Справедливо отмечая подчеркнутый прозаизм этих стихотворений, В.Бетаки [116] называет их *поэмами*. Сам Ходасевич, однако, не называл их так. Это скорее фрагменты автобиографической повести. Сказанное становится почти бесспорным при сравнении их с малоизвестным стихотворением *На пасхе. (Отрывок из повести)*, написанным в том же 1918 (см. второй том наст. Собрания): эти стихи написаны дактилическим гекзаметром; их эпический тон не вызывает сомнения.

9 **Бежало трепетно и непрерывно...** — В изд. 1921 [3] этот стих читается так: «Бежало трепетно, упорно, непрерывно...».

18 **Салазки на горе, но эти звуки...** — В изд. 1921: «Салазки на горе, но звуки мира...».

24 **И вдруг — как бы толчок...** — Нами дана здесь современная норма: толчок, а не толчек, как в [14].

58 **Так видел я себя недолго: вероятно...** — В изд. 1921: «Так видел я себя недолго. В это время...»

63 **В нее и возвратился вновь. Но только...** — В изд. 1921: «И возвратился вновь в нее. Но только...».

66-68 **...как змее,/Которую заставили бы снова...** — Б.Вышеславцев (1922): «И даже образ змеи, сбрасывающей кожу, и опять вползающей в нее, есть чисто индусский образ...» [84].

70 **Увидел я перед собою книги...** — Вслед за этим стихом в изд. 1921 следует: «И маску Пушкина, и снова за окном/Услышал возгласы. Мне было трудно...».

Вариация
стр.109

Прим. В.Ф.Ходасевича:

Август <1919>, в Москве, после того как накануне случилось вторично, но не так отчетливо, в Гирееве, на террасе, утром.

Из примечания автора ясно, что название этого стихотворения указывает на его связь с предыдущим. Таким образом, порядок стихотворений в книгах Ходасевича существенен и не случаен. Анонимный составитель *Списка ИФ* [15], посчитав *Эпизод* поэмой и отнеся его в конец сборника, разделил стихотворения. При этом название *Вариация* потеряло смысл.

Золото
стр.110

Прим. В.Ф.Ходасевича:

7 янв(аря 1917), днем, минут в 10-15. Никогда ни до этого, ни после не писал так легко. Это в сущности «экспромт».

Впервые — [35].

Эпиграф — из четвертой части фантастической драмы Сигизмунда Красинского *Иридион*, вышедшей в 1910 в Москве в переводе В.Ф.Ходасевича [16]. Эпиграф не вполне совпадает с соответствующим ему фрагментом перевода Ходасевича [16, стр. 138], отличаясь порядком слов и пунктуацией. Он, следовательно, приведен поэтом на память или непосредственно с оригинала.

Граф Сигизмунд Красинский (Зыгмунт Красиньский) (1812-1859) — великий польский поэт и религиозный мыслитель. Вместе с Мицкевичем и Словацким образует, по определению Ходасевича, «поэтический триумвират», знаменующий высший расцвет польской поэзии в XIX веке.

Ищи меня
стр.111

Прим. В.Ф.Ходасевича:

3 января (1918). Это — о Муни. Стихи — как бы к женщине.

Впервые — [37].

С тем же успехом, с каким Тютчеву приписывается открытие подсознания, Ходасевичу, основываясь на ст.11-12 этого стихотворения, можно приписать предвосхищение открытия биополя. — О Муни см. прим. к стр. 3 и 98.

2-го ноября
стр.112

Прим. В.Ф.Ходасевича:

20 мая — 1 июня <1918>. 2 ноября я ходил к Гершензону. Столяр — незнакомый, но был. А Петром Ивановичем звали столяра в фотогр. мастерской отца, в детстве. Исправления в конце — 1927, по совету Степуна (еще в 1918).

Федор Августович Степун (1884-1965) — русский философ, эмигрант; автор мемуаров *Vergangenes und Unvergängliches*, Мюнхен, 1947, в которых, между прочим, пишет о фотографической памяти, неизменной принципиальности и объективности Ходасевича.

П.Губер (1921): «...Замечательна своей жуткой протокольной точностью и психологической правдой пьеса "2 ноября", посвященная описанию Москвы на другой день после переворота...» [83]. — Б.Скворцов (1922) с похвалой отзывається о развернутой метафоре, содержащейся в ст. 6-10, затем пишет: «И самое восприятие Москвы после ноябрьских дней лишено Брюсовского аффектизма и дает подлинную картину прошедшего трагизма, открывающегося теперь в неприглядности буден: (цит. ст. 16-22)...» [88].

34-36 К моим друзьям в тот день пошел и я... — Упоминание о визите к М.О.Гершензону.

42-48 ...Необычайным делом/Он занят был... красный гроб... — Софья Парнок (1922): «...Божественное единство Ходасевич приветствует и в столяре, раскрашивающем первый красный гроб, и в мальчике мечтателе "с бессмысленной священной улыбкой" (см. ст. 69-80)...» [93].

56-57 ...вокруг корзины/С плетеной дверцей... — В изд. 1921 [3] эти стихи читались так: «...вокруг корзины/С овальной крышкой...».

81 И мальчику я поклонился тоже... — За этим стихом в изд. 1921 следовало: «Как будто поправляя шляпу.../Дома...».

Полдень
стр.115

Прим. В.Ф.Ходасевича:

19 апр. — 1 мая (1918).

⁴⁰ Лучи их борются с лучами солнца... — В изд. 1921 [3] за этим стихом следуют еще два:

И падают, обуглившись, на землю —
Низвергнутые ангелы...

А ветер...

В связи с их удалением внесена поправка в ст.41.

⁴³⁻⁴⁸ ...И все, что слышу,/...смотрю как бы обратным взором/
В себя... — Эти стихи цитирует С.Парнок (1922) со следующим комментарием: «Зрение этим "обратным взором" открывает духу источник "вечного хмеля" созерцания, последнего хмеля, после которого духу нет утolenия ни в чем. Под этим "обратным взором" раскрывается сущность всего сущего, исход явлений из единого русла...» [93]. — Ст.43-45 приводит Б.Вышеславцев (1922) в качестве иллюстрации к реплике: «Тот, кто может это сделать, есть настоящий художник...» [84]. — Ст.44 оба рецензента дают в его первоначальной редакции [3]: «Преображенное каким-то мудрым чудом...».

Встреча
стр.117

Прим. В.Ф.Ходасевича:

13 мая (1918), по заказу Осоргина, для «итальянского» номера газеты «Власть Народа». Англичанка, впрочем, была в 1911 г., как и все прочее.

М.А.Осоргин (1878-1942) — см. прим. к стр. 84. *Власть Народа* — ежедневная московская газета социалистов-революционеров, выходила в 1917-1918; фактический редактор — Е.Д.Кускова (1869-1958).

Б.Вышеславцев пишет: «Образы его поэзии схватывают нечто существенное и очаровательное...» [84] и затем пересказывает ст. 30 и 34.

²¹ Который нам, поэтам, суждено... — В изд. 1921 этот стих читается так: «Который всем поэтам суждено...».

⁴⁷ ...А вечный хмель... — О вечном хмеле созерцания, питающем дух, пишет С.Парнок [93] (см. прим. к стр.115).

Обезьяна
стр.119

Прим. В.Ф.Ходасевича:

20 февраля <1919>. Начато 7 июня 1918. Все так и было, в 1914, в Томилине. Гершензон очень бранил эти стихи, особенно Дария.

Б.Вышеславцев (1922): «...дивная вещь, полная подлинной поэзии, мудрости и величия — "Обезьяна" — воплощает древне-индийскую мысль о единстве всего живого, скованного единой цепью страдания и сострадания. Это таинственное родство всех живых духов поэт прочел во взоре бедной странствующей обезьяны, протянувшей ему руку: /цит. ст. 41-42/>» [84]. С.Парнок [93] говорит о «поистине вдохновенно увиденной обезьяне».

⁸ По ней катились. Выше, на заборе... — В изд. 1921 [3] этот стих читается так: «По ней катились. Рядом, на заборе...».

³³⁻⁴² Я руки жал красавицам, поэтам... — Б.Скворцов [88]: «А когда обезьяна в знак благодарности за воду протянула поэту руку и заглянула ему в глаза, у него возникают ощущения, по глубине своей превосходящие Тургеневские: /цит. ст. 33-42/. В эти мгновения все, что он видит и слышит, преобразается каким-то мудрым чудом, обращенное внутрь себя созерцание не нуждается уже ни в словах, ни в мыслях...».

⁵²⁻⁵⁵ Огромное малиновое солнце... — Б.Скворцов [88]: «А вот образцы его описаний: /цит. ст.52-55/. Безгромный зной на чах-

люю пшеницу — и сразу припоминается лето 1914 г., даже если бы поэт и не прибавил в конце: "в тот день была объявлена война"....».

Дом
стр.121

Прим. В.Ф.Ходасевича:

Много раз переделывал. В первой редакции (ужасной) напечатано где-то в Киеве.

15 Про черный день; где в духоте и мраке... — В изд. 1921 [3] вслед за этим стихом — вместо ст.16 — было:

Привычные супружеские ласки
Беспламенно вершились; где потели...

28 Из пустоты одной ведут в другую... — В изд. 1921: «Из пустоты одной они ведут в другую...».

63-66 ...И трепещет сердце,/Как легкий флаг... — М.Шагинян (1922): «...опыт души начинает, незаметно, искать и находить афористические формулировки: (цит. ст. 63-66). Афоризм — вечен; он удается только поэту с напряженным духовным опытом...».

70 Она со стен сдирает паклю, дранки... — В изд. 1921: «Она со стен сдирает дранки, паклю...».

Стансы
(«Уж волосы седые на висках...»)
стр.124

Прим. В.Ф.Ходасевича:

24-25 октября (1918), по возвр. из Петербурга, на службе, в моем кабинете во «Всемир. Литературе». От скуки. Никакой работы не было, служба и изд-во только что начинались.

В октябре 1918 Ходасевич принял предложение заведовать московским отделением «Всемирной Литературы». Для принятия дел он

ездил в Петроград, где познакомился с Горьким и Гумилевым. Его служба в издательстве продолжилась до лета 1920, «когда пришлось бросить и ее: никак нельзя было выжать рукописей из переводчиков: ставки Госиздата повышались юмористически медленно, а дороговизна жизни росла трагически быстро...» [62].

¹³⁻¹⁶ **Рассеянно я слушаю порой...** — Б.Вышеславцев (1922) по поводу этой строфы замечает: «Это мудрое слово, и в нем сразу высказана основная мысль маленького сборника...» [84].

¹⁴ **Поэтов праздные бряцанья...** — В изд. 1921 [3] было: «Поэтов звучные бряцанья...».

Анюте
стр.125

Прим. В.Ф.Ходасевича:

25 янв(аря 1918). Были такие коробки. Последней строфы никто не понял.

Стихотворение адресовано второй жене поэта, А.И.Чулковой-Ходасевич. — Возможно, мы приблизимся к пониманию загадки, заключенной в ст.21-24, если вспомним, что это стихотворение было написано «тотчас за» стихотворением *Эпизод* (см. прим. к стр. 106). Во всяком случае здесь, как и там, герой видит себя со стороны.

«И весело, и тяжело...»
стр.126

Прим. В.Ф.Ходасевича:

Неправда: 1923, Saagow. Изменил хронологию, потому что больше подходит к «П.Зерна», да и плохо для 1923 года.

Напомним, что примечания автора писались им на листах уже изданной книги, непосредственно вслед за обозначенным там годом написания стихотворения, — и, вероятно, для публикации не предназначались. — В неопубликованном письме к ленинградскому бел-

летристу и поэту М.А.Фроману (1890-1940) от 14.04.1926 Ходасевич упоминает об этом стихотворении как о неудавшемся наброске: «...если у Вас есть "И весело, и тяжело", "Не жди, не уповай, не верь", "Доволен я своей судьбой" и "Песня турка" — выбросьте их: это наброски, неудачные, я их выбросил...». Возможно, стихотворение приобрело свой окончательный вид при подготовке Собрания Стихов [9], т.е. летом 1927.

Без слов
стр.127

Прим. В.Ф.Ходасевича:

5-7 апр(еля 1918). Написал все, кроме ужасного «дорогая» — 5, 7 кончил, чтобы дать в какую-то Эренбурговскую газетку.

Г.Адамович (1922): «Двенадцать строк стихотворения "Без слов" могут служить образцом зрелого и уверенного искусства...» [94]. — Вероятный адресат стихотворения — А.И.Ходасевич, вторая жена поэта.

Хлебы
стр.128

Прим. В.Ф.Ходасевича:

26 февр. — 11 апр(еля 1918).

Вероятный адресат стихотворения — А.И.Ходасевич.

ТЯЖЕЛАЯ ЛИРА

Тяжелая лира — четвертая книга стихов В.Ф.Ходасевича. Ее первое издание относится к 1922: она вышла в Государственном издательстве с пометкой Москва—Петроград (была напечатана в 16-й

типографии Мосполиграфа в количестве 3000 экз.); затем в 1923 она была переиздана З.И.Гржебиным в Берлине [7]. После этого книга выходила еще дважды в составе итогового Собрания Стихов: в 1927 и в 1961, причем первое [9] было подготовлено автором и появилось в Париже, а второе [14] — в Мюнхене, под редакцией Н.Н.Берберовой, с примечаниями автора и редактора. В настоящем Собрании текст книги воспроизведен по изданию 1961 года [14].

Первое (московское) издание *Тяжелой лиры* было осуществлено крайне небрежно. В неопубликованном письме к М.А.Фроману от 14.04.1926 Ходасевич пишет: «...кстати — моск. изд. совершенно негодное: в нем только искажающих смысл опечаток больше 15, стихи не в том порядке и т.д. ...». Книга вышла в свет уже после отъезда Ходасевича за границу в июне 1922. Об этом свидетельствует следующее: почти сразу же по приезде в Берлин, по предложению редакции журнала *Новая Русская Книга*, Ходасевич пишет краткую автобиографическую заметку [62] (она появилась в июльском номере), где, между прочим, сообщает: «Готова у меня книга новая "Тяжелая лира"...». Итак, в начале июля книга еще только готова, но не издана. О том же говорит и количество искажений в первом издании: очевидно, поэт не имел возможности проконтролировать его непосредственно.

Книга создана в непривычно короткий для Ходасевича срок: менее чем за два года. В издании 1927, где она получила свой окончательный вид, ее временные рамки несколько расширены (за счет добавления 7 стихотворений) и составляют два года и два месяца — тогда как две предыдущие книги потребовали по шесть лет каждая. Из 47 стихотворений 28 написаны в 1921. Три стихотворения, входившие в издание 1922 [7], но не вошедшие в издание 1927 [14], приведены нами в Приложении: стр. 197-199.

Название книги очень точно характеризует не только удельный вес слова в поздней лирике Ходасевича, но и самое протекание творческого процесса у поэта. В.Андреев (1969) сообщает, что на одном из своих выступлений зимой 1922/23 в берлинском кафе Прагер Диле «...Ходасевич говорил о том, что пишет трудно и долго — "одно стихотворение я могу писать четыре года"...» [112]. Это признание важно в двух отношениях. Во-первых, обывательское представление о труде поэта и по сей день не отделяет литературный талант от дара экспромта, смешивая огонь нежданных эпиграмм с глубоким лирическим переживанием. Во-вторых, возникают некоторые затруднения у критиков, которым хотелось

бы видеть Ходасевича эпигоном Пушкина [109]. Ходасевич именно потому творец, а не эпигон, что продолжать классические традиции в начале XX века было **тяжело**. Общий стиль жизни, внезапное и глубокое обновление языка, неслыханные возможности впервые открывающегося глазу ландшафта — все это (во всяком случае до 1826) делало **легкой** лиру поэтов пушкинской поры, этих пионеров, скудость снаряжения которых искупалась молодостью. В ином положении оказался Ходасевич. Перед ним был не край непуганных птиц, но прекрасная, цветущая, обжитая и возделанная долина. Чтобы, не прибегая к насилию, придать наследственному уделу новый и неповторимый облик, приходилось выверять каждый шаг.

А.С.Карпов (1966) [109] проводит статистическое сопоставление четырехстопного ямба поэтов золотого века с четырехстопным ямбом *Тяжелой лиры* (1923). В приведенной ниже таблице буквой Я обозначена стопа ямбической структуры, буквой П — пиррихической. В последней строке даны частоты случайных, т.е. спонтанно возникающих в прозе, ямбических структур.

	яаяя	паяя	япяя	яяпя	яппя	пяпя	d
Пушкин:							
лирика 1828-29	30.5	7.8	6.8	45.3	0.5	9.1	10.38
Языков:							
лирика 1825-28	17.3	5.9	3.1	60.1	0.2	13.4	11.05
Боратынский:							
лирика 1821-28	30.2	12.8	0.9	44.7	0.1	11.3	11.68
Ходасевич:							
лирика 1920-22	16.7	8.8	12.2	45.0	1.3	16.0	6.95
Случайные ямбы	17.7	8.0	26.4	26.9	6.3	14.0	—

Столбец d добавлен нами. Он содержит среднее отклонение от случайных ямбов, являющееся одной из возможных мер расстояния между поэтической речью каждого из поэтов и прозой. По мнению А.С.Карпова, проведенный им «статистический эксперимент» (ему, впрочем, принадлежит только четвертая строка таблицы) «со всей несомненностью указывает не только на ориентацию Ходасевича на пушкинский ямб, но вместе с тем и на его стремление идти по на-

ибо более легкому пути» [109, стр. 219]. Оба эти вывода более чем поспешны. Первый просто опровергается цифрами столбца d: Пушкин отстоит от случайных ямбов в полтора раза дальше Ходасевича. Но — см. цифры — Пушкин уступает в этом смысле Языкову и Боратынскому и, следовательно, если верна вторая посылка, избрал более легкий, чем они, путь. Продолжая мысль Карпова и опираясь на *Сравнительную морфологию ритма* Андрея Белого, убеждаемся, что Н. Некрасов избрал несравненно более легкий путь, чем Каролина Павлова. Остается заметить, что оба вывода ученого не только противоречат его же собственным расчетам и логике, но и взаимно исключают друг друга. — Что же показали эти остроумные расчеты? Они не оставляют сомнения в том, что ямбы Ходасевича гораздо ближе к прозе, чем ямбы Пушкина, Языкова и Боратынского. Но ведь такова была и программная установка поэта: «С той поры люблю я, Брента,/Прозу в жизни и в стихах...» (см. стр. 87); «И каждый стих гоня сквозь прозу...» (*Петербург*, см. второй том наст. Собрания), — примеры можно продолжить. Любовь к Пушкину и следование традициям его школы выражались у Ходасевича, между прочим, и в постоянном споре с ним о мере поэтизации обыденности. В мемуарах об Андрее Белом [12] читаем: «Пушкинскому "возвышающему обману" хочется противопоставить нас возвышающую правду...». В основе рассуждений А.С. Карпова лежит невысказанная мысль о том, что писать прозу легче, чем писать стихи, — мысль совершенно ребяческая и возражений не заслуживающая. Односторонен, кроме того, и выбранный им критерий. Говоря словами самого Ходасевича, «для читателя, одновременно воспринимающего всю совокупность элементов поэзии», «изысканнейшие ритмические узоры» останутся не приметными, если «не происходит слияния формы с содержанием, т.е. нет налицо необходимейшего из признаков совершенной поэзии» [57].

Кроме А.С. Карпова [109], в послевоенные годы о Ходасевиче писали еще несколько советских авторов: [107, 110, 111, 112, 115]. Все эти отзывы отличает какое-то поразительное легкомыслие. «С точки зрения поэтического мастерства производят хорошее впечатление стихи Ходасевича в сборнике "Тяжелая лира"...» [111]. Трудно не улыбнуться, видя, с каким фамильярным самодовольством рассуждают служилые литературоведы и мемуаристы о достижениях поэта с его напряженным духовным опытом. Но было бы ошибкой вовсе обойти их молчанием. Мы надеемся, что наши попытки спасти

от разграбления родную культуру не сочтут войной с ветряными мельницами, а нас не упрекнут в многословии.

Обратимся к современникам поэта. В короткой анонимной рецензии на *Тяжелую лиру* (предполагаемый автор — И.М.Наппельбаум) читаем: «Среди современных поэтов Ходасевич занимает совершенно особое место прежде всего по своему отношению к языку. Для него слово никогда не является самоцелью; оно не имеет ни звуковой окраски, ни собственного эмоционального тона; оно — средство выражения мысли и переживания. /.../ Он сохраняет язык в его благородной простоте. ... мысль — главный элемент творчества Ходасевича. ... "Тяжелая Лира" очень цельная книга именно благодаря построению на мысли... Мысль в стихах Ходасевича философская, т.е. скорее прозаическая, чем поэтическая... Но, разумеется, ни мастерством, ни вкусом, ни достоинствами темы и мыслей нельзя объяснить того, что делает "Тяжелую Лирu" одним из лучших сборников стихов, вышедших за последнее время...» [101]. — В этот именно период заново открыл для себя Ходасевича Андрей Белый: «...да, пятнадцать уж лет как господствует в нашей поэзии спорт; самоновейшее вытесняет новейшее; и поэту, которому не пришлось быть новейшим, сначала не уделяли внимания... нам не было время вдуматься в безбаобабные строки простого поэта, в котором правдивость, стыдливость и скромная гордость как будто нарочно себя отстраняют от конкурса на лавровый венок. И вот — диво: лавровый венок — сам собою на нем точно вырос; самоновейшее время не новые черты поэзии вечной естественно подчеркнуло; и ноты правдивой поэзии, реалистической (в серьезнейшем смысле) выдвинуло как новейшие ноты...» [90]. Далее А.Белый называет поэзию Ходасевича «откровением духовного мира», «правдой отстоянного душевно-духовного знания». В 1923, в *Современных Записках*, XV, появилась вторая статья Белого о Ходасевиче, написанная в столь же панегирическом ключе. — Ю.Тынянов [104] отозвался о *Тяжелой лире* скептически. — Этим и исчерпывается добросовестная критика на книгу. Прочие отзывы носят характер откровенных нападок. — Н.Асеев (1922): «И этакую зловещую, усталую до полной импотенции, отказывающуюся от всякого движения поэзию, А.Белый рекомендует, как последнюю правду и новизну? /.../ Заявление ведь делается большим знатоком поэзии, признанным, даже недавними врагами, авторитетом. /.../ Храни нас жизнь от такой "божьей милости". Давно для нее крематорий надо выстроить. Тление, разложение это, а не

откровение духовного мира. /.../ Не рембрандова <! — Ю.К.> это тень, а замогильная серая серость проступающего идеологического тления...» [91]. Он же (1923): «Нет смысла доказывать, что дурнорифмованным недомоганиям г.Ходасевича не помогут никакие мягкие припарки...» [98]. — В.Брюсов (1923): «...совершенно безнадежно, чтобы... выдающегося поэта мы получили в лице Владислава Ходасевича... Передо мной "Четвертая книга стихов" Ходасевича, и стихи эти больше всего похожи на пародии стихов Пушкина и Баратынского...» [97]. — С.Родов (1923): «Скептик по существу, не верящий ни в землю, ни в небо, разочарованный во всем, — он не стесняется и считает лишним прибегать к стыдливим покровам, скрывающим чувства и мысли других поэтов... Буржуазные писатели врут кто во что горазд, выдумывают чудеса, пускаются в мистику...», и т.п. [100]. — Два последних критика, искренние в оценке творчества Ходасевича, в своих рецензиях сводят с ним личные счеты. Брюсов достаточно известен. О его отношениях с Ходасевичем см. прим. к стр. 9. Семен Родов, в качестве начинающего поэта, еще осенью 1917 искал протекции Ходасевича для публикации в *Русских Ведомостях* и во *Власти Народа*. «...перед октябрьским переворотом... он ненавидел большевиков мучительно...», — вспоминает Ходасевич [66]. Его поэма *Октябрь*, давшая впоследствии название известному журналу, была читана автором Ходасевичу еще в своей первой, антибольшевистской версии. Затем она была перелицована. Родов оказался в стане победителей и быстро пошел в гору. В 1918 он слушает лекции Ходасевича в Московском Пролеткульте, а уже в начале 1920-х он — ответственный редактор журнала *Октябрь* и один из трех редакторов *На посту* (вместе с Б.Волиным и Г.Лелевичем), где и напечатан его отзыв о Ходасевиче [100]. — «В 20-х гг. донос в "На посту" означал конец писателя или поэта... Палачи русской литературы были: Авербах, Лелевич, Родов. Они погубили два поколения писателей и поэтов, ученых, критиков и драматургов. Позже они сами были ликвидированы, но, к сожалению, сейчас частично "реабилитированы"...», — пишет Н.Н.Берберова [113, стр. 671].



Музыка стр.131

Прим. В.Ф.Ходасевича:

15 июня (1920), в чудесный летний день, сразу. Всю зиму пробовал — не выходило. Серг.Ив. — Воронков, жил надо мной в 7-м Ростовском.

Впервые — [41], затем — [44]. В первой публикации ст.1 отсутствует.

Стихотворение это образует интонационную связку книг *Путем зерна* и *Тяжелая лира*, продолжая ряд эпических нерифмованных стихотворений предыдущей книги (см. прим. к стр.106). — Ст.20-29 и затем 38-43 в разбивку цитирует С.Родов [100] в ходе издательского пересказа стихотворения (общая черта новой критики). — «Стояли на дворе два обывателя, один просто обыватель, другой — интеллигент, и занимались хозяйским делом: кололи дрова. В 1920 г. это было не редкость... /подробный пересказ/... Сознательно или ненамеренно Ходасевич дал в этом стихотворении злую сатиру на современную буржуазную литературу?... /.../ поэты обреченного класса... совершенно лишены чувства жизни и их тянет к небытию, к потустороннему миру, лишь бы не остаться здесь, где для них страшно и убого...». — Читатель извинит нас за длинную цитату: она воскрешает время.

3 У Благовещенья на Бережках обедня... — В [41] и затем в [44] этот стих читался так: «У Троицы на Бережках еще обедня...».

5 Как мало все: и домик, и дымок... — В [41] этот стих читался: «Как мало все: и дворик, и дымок...», что, возможно, было результатом опечатки.

«Леди долго руки мыла...» стр.133

Прим. В.Ф.Ходасевича:

9 янв. 1922. О смерти Муни.

Впервые — [46].

Муни — С.В.Киссин (1885-1916), поэт, друг Ходасевича. О нем см. прим. к стр. 3 и 98.

⁸ Мне лет шесть не спится тоже... — Некогда, в 1911, дружеское участие и незаурядная интуиция Муни спасли Ходасевича от самоубийства. Ходасевич не сумел, физически не мог, вернуть этот долг: Муня застрелился в Минске, 28 марта 1916 года. — С.Родов [100]: «А теперь мы предложим Госиздату решить простую задачу с одним неизвестным. Данные: 1) От преступления лэди Макбет прошло — 300 лет. От революции — 6 лет. 2) Лэди Макбет не спится — 300 лет, Вл.Ходасевичу не спится — 6 лет. 3) Лэди Макбет не спится из-за совершенного ею преступления. — Требуется найти: Из-за какого преступления не спится Вл.Ходасевичу. И когда Госиздат эту задачу решит (на помощь можно пригласить любого свердловца или рабфаковца), пусть он подумает: стоило ли издавать книгу Ходасевича?..». — Даже если, по примеру Родова, сосредоточиться только на цифрах, то и здесь видна грубая подтасовка: стихотворение — под ним в книге стоит: 1922 — не могло быть создано позже чем через 5 лет и 2 месяца после переворота (в действительности оно написано еще на год раньше); самая рецензия писана спустя 5 лет и 5 месяцев. Зато, как всегда, автобиографически точен Ходасевич: от смерти Муни до этих стихов о нем прошло 5 лет и девять с половиной месяцев.

«Не матерью, но тульской крестьянкой...»

стр.134

Прим. В.Ф.Ходасевича:

2 марта <1922> — последние 5 строф. Первые 4 лежали с 1917. Кончал наспех, почти начисто, к 3 часам: должен был придти за стихами Копельман. Деньги были очень нужны. После ухода Копельмана отправился на рынок, по оттепели. Купил калоши, которые оказались велики. Засунул в них черновик и поехал (впервые) в гости к Н.<Берберовой>. В 1923 г., в Берлине, черновик нашелся в носке калоши. Няня: Елена Александровна Кузина, по мужу Степанова, Тульской губ., Одоевского уезда, села Степанова. Ребенка (2-го) она отдала в Восп. Дом, где он и умер. Там детей морили. Своим существованием я ему обязан, ибо все кормилицы до этой отказывались меня кормить: я был слишком слаб. Няня умерла, когда мне было лет 14. Всегда жила у нас.

Н.Н.Берберова (1972) повторяет и дополняет этот рассказ: «Он пошел покупать на Сенной рынок калоши. /.../ В попытках купил калоши на номер больше, чем надо, засунул в них черновик стихотворения и пошел ко мне. /.../ В тот день у меня <Берберова жила на Кирочной (теперь ул.Салтыкова-Щедрина); Ходасевич жил в Доме Искусств: Герцена 14, кв. 30а, комн. 10> собралось несколько человек, /.../ он читал "Не матерью", читал наизусть /.../ мы не читали "по кругу" — никому не хотелось читать свои стихи после его стихов...» [113, стр.162]. — Стихотворение это, вместе с *Элегией* (1921) и *Балладой* (1921), а затем и другими стихами, внезапно привлекло к Ходасевичу всеобщее внимание. Осенью 1921 в Петербурге уже не было Блока и Гумилева, и литературная общественность, всегда испытывающая потребность в лидере, напряженно вглядывалась в лица, выбирая, на кого поставить.

1 **Не матерью, но тульской крестьянкой...** — Противопоставление это, предпосланное гражданственно-патриотической декларации, вызвано тем, что в Ходасевиче не было ни капли русской крови. Отец поэта был поляк. По материнской линии Ходасевич унаследовал 1/4 или даже 1/2 еврейской крови: С.Я.Ходасевич была дочерью известного памфлетиста, автора *Книги Кагала*, Я.А.Брафмана, в молодости крестившегося в католичество.

9 **Она меня молитвам не учила...** — Здесь няня снова противопоставляется матери: молитвам учила Ходасевича мать — см. прим. к стр.46.

13 **Лишь раз, когда упал я из окна...** — Канва автобиографии, набросанная Ходасевичем для Н.Н.Берберовой в 1922 (см. стр. 203), не содержит упоминания об этом падении. Поэтому возраст, в котором оно случилось, неустановим. Однако сам факт падения, как и любой фрагмент воспоминаний в стихах и прозе Ходасевича, можно считать бесспорным. Подобно Державину, Ходасевич часто опирается на свою биографию, воспроизводя ее скупой, но педантично.

20 **Тебя любить и проклинать тебя...** — Декларируя неотъемлемое и существенно двуединое право русского писателя, Ходасевич делает это с характерным для него бесстрашием и открытостью, как бы провоцируя чернь поставить ему в вину его нерусское происхождение.

23 **Учитель мой — твой чудотворный гений...** — Пушкин занимал громадное место в жизни Ходасевича. Однако попытки видеть в Ходасевиче эпигона Пушкина [109] не выдерживают критики. Будучи вообще последователем пушкинской школы в поэзии, Ходасевич продолжает и развивает традицию поэзии мысли, ведущую свое начало от Боратынского. Это обстоятельство отмечено современниками поэта [94, 101, 98, 90]. Привязанность же к Пушкину находит у Ходасевича, в частности, своеобразное выражение в непрекращающемся споре с ним о романтическом элементе в поэзии. Подробнее об этом см. прим. к *Тяжелой лире*: стр. 264-269.

27 **...сей язык, завещанный веками...** — Ю.Тынянов (1924): «В стих, "завещанный веками", плохо укладываются сегодняшние смыслы. /.../ Мы сознательно недооцениваем Ходасевича, потому что хотим увидеть свой стих, мы имеем на это право...» [104].

32 **...есть и мне прибежище одно...** — Вл.Орлов (1976) замечает по этому поводу: «Охваченный унижением паче гордости», Ходасевич «утверждал, что ему не нужно будущего и что у него остается впереди одно прибежище — могила на Ваганьковском кладбище, в родной Москве. Но и в этом судьба отказала поэту, разомкнувшемуся со своим народом: он умер в Париже, в больнице для бедных...» [115]. Злорадство, столь неприкрыто сквозящее в последней фразе исследователя, преждевременно: Ходасевич хотел умереть в родной Москве, но Москва Вл.Орлова уже не была ею. Напрасно также Орлов спешит с выводом о том, кто именно навсегда разомкнулся с русским народом в трагические для него времена. Что же касается «больницы для бедных», то это более чем неточность: Ходасевич умер в частной клинике на улице Юниверсите (после трехчасовой операции, 14 июня 1939, в шесть утра). Больницей для бедных Вл.Орлов называет бесплатный (муниципальный) госпиталь, где Ходасевич лежал на обследовании с 25 мая по 8 июня 1939, непосредственно перед операцией.

«Так бывает почему-то...»

стр. 136

Прим. В.Ф.Ходасевича:

25 сентября (1920).

Это стихотворение связано общей темой и интонацией с четырьмя другими, следующими в книге непосредственно за ним. Вместе все пять стихотворений на стр.136-141 образуют не выделенный автором цикл о душе.

К Психее
стр.137

Прим. В.Ф.Ходасевича:

13 мая — 18 июня (1920). Днем. Вечером пошел к Чулковым, читал Над. Григ., которая очень восхищалась.

Впервые — [38], затем [44].

Душа
«Душа моя — как полная луна...»
стр.138

Прим. В.Ф.Ходасевича:

4 янв. 1921. Первое стих., написанное в ПБурге, после выздоровления.

Впервые — [42].

Ходасевич переселился в Петроград не позднее 19 ноября 1920. Весь 1920 он тяжело болел (подробнее см. стр.206). В частности, после переезда «снова лежал около месяца» [62]. 1921 год принес ему некоторое облегчение — и небывалый прилив творческой энергии. *Тяжелая лира* сложилась в основном в 1921. Творчеству способствовал самый воздух тогдашнего Петрограда. В 1939, за два месяца до смерти, Ходасевич вспоминает о нем в следующих словах: «В этом великолепном, но странном городе ... жизнь научная, литературная, театральная, художественная проступила наружу с небывалой отчетливостью. Большевики уже пытались овладеть ею, но еще не умели этого сделать, и она доживала последние дни свободы в подлинном творческом подъеме. Голод и холод не снижали этого подъема, — быть может, даже его поддерживали...» [13]. В Петрограде, кроме того, Ходасевича ожидало широкое признание. Оно непосредственно отразилось во внешних формах литератур-

ной жизни: Ходасевич избирается членом Комитета Дома Литераторов; он один из 15 членов Правления Петроградского отдела Всероссийского Союза Писателей (ПОВСП); один из пяти судей чести при ПОВСП. В начале 1921 Союз Поэтов устраивает в Доме Искусств вечер Ходасевича. — Стихотворение *Душа* вошло в первое издание *Тяжелой лиры* с несколькими опечатками, в частности, без заглавия. Ник.Асеев (1922) пишет о нем: «Не будем говорить о довольно странной форме: "горит себе (?) горит"... Горит на высоте душа, как луна, "себе" — совершенно самостоятельно, в страстях не участвует, слез не осушает. Ведь это — если не электрический фонарь, то штука совершенно неправдоподобная...» [91].

1-2 Душа моя — как полная луна... — Ср. у Ф.Сологуба:

Мечта души моей, полночная луна,
Стоишь ты в облаках, ясна и холодна.

(Собр. соч. в 12 томах, Шиповник, СПб., 1909-1912, т. V, стр.99). Совпадение это является, конечно, чисто внешним. Но, быть может, оно и не случайно. Ходасевич всегда видел в Сологубе истинного поэта, замечательного мастера формы [12]. В письме к Ю.Н.Верховскому от 1.08.1922 он замечает: «Очень люблю его, и его стихи...» [72].

«Психея! Бедная моя...»
стр.139

Прим. В.Ф.Ходасевича:

4 апр(еля 1921). С этого стихотворения внутренне начался для меня период «Тяжелой Лир».

Впервые — [42].

В.Бетаки (1979) видит в ст.10-12 этого стихотворения объяснение названия всей книги: «Груз на душе поэта — это весь человеческий груз, во много раз более тяжелый...» [116].

Искушение
стр.140

Прим. В.Ф.Ходасевича:

4 июня — 9 июля (1921). О НЭПе. Дважды читал в ПБ публично; советовали не читать, но я очень кипел. С этого стих. началась последняя дружба с Белым. Его статья обо мне в «Записках Мечтателей» — главн. образ. — из этого стихотворения.

Ходасевич познакомился с А.Белым в 1904, на одной из брюсовских сред. Девятнадцатилетняя дружба писателей оборвалась 8 сентября 1923, в Берлине, перед возвращением Белого в Москву, и оборвалась ссорой. Больше они не виделись. Статья, упомянутая в прим. Ходасевича, написана и опубликована Белым еще в Петрограде, более чем за год до разрыва [90]. Она пересыпана цитатами из стихов, вошедших затем в *Тяжелую лиру*, но *Искушение* в ней даже не упомянуто. Основная мысль статьи: поэзия Ходасевича **духовна**: им отброшены «пестроты и персидские ковры модернизма /.../ в наши же дни... — в духовности, в трезвости, в строгости, в четкости, — правда»; тогда как поэзия большинства современных поэтов, продолжает Белый, — только **душевна**, в лучшем случае с **зерном духа**. Здесь же отмечено родство Ходасевича с Боратынским: Ходасевич «...поэт Божьей милостью, единственный в своем роде. И он может сказать языком Баратынского о характере музыки своей, что красавицей ее не назовут, но что она поражает "лица не общим выраженьем". И это "необщее выраженье" — теневая, суровая Рембрандтова правда штриха: духовная правда!..» [90]. — Статья А.Белого привлекла к Ходасевичу внимание Н.Асеева — сначала недоумевающее: «заявление ведь делается большим знатоком поэзии, признанным, даже недавними врагами, авторитетом» [91], затем негодующее [91, 98]. Статья Асеева в *Лефе* [98] почти целиком занята разбором *Искушения*. Стихотворение цитируется с большим количеством искажений, затем пересказывается. «В переводе с церковно-славянского это очевидно разговор автора с редактором Гиза. В первой строфе... автор угрожает перекувыркнуть скрытую им во время изытия ценностей тассову лампаду и забыть "друга веков" Омира. /.../ Третья строфа начинается с "вотще", что для товарищей, давно не читавших священного писания, требует разъяснения: вотще значит напрасно.

/.../ Голодный сын гармонии значит: г.Ходасевич. И его-то "благих вестей" не хочет благополучный гражданин. Кто этот последний /неточная цитата ст. 13-16/... — нэпман? Подумает недальновидный читатель. Ничуть не бывало...». — По мнению Н.Асеева, это — редактор, мешающий «голодному сыну гармонии продать свои потрепанные бобры с плеча Баратынского по вольной цене» [98]. — Другой критик, С.Родов, цитирует *Искушение* без названия и последней строфы, со следующим комментарием: «Как? Вл.Ходасевич против НЭПа? /.../ Скажите, пожалуйста, как революционно!.. В чем дело? — А в том, что Вл.Ходасевич хочет на НЭПе отыграться. Раньше, во время революции до НЭПа мир был страшен, непонятен, нов, но величествен по размаху совершавшихся событий; теперь же Ходасевич предполагает, что НЭП дает ему право назвать мир подлым, а раз так, то чего ему стесняться. Он давно был прав, что презирал эту опозоренную землю, на которой торгует не буржуй, не кулак, а благополучный гражданин, кладущий выручку не себе в карман, а в огненный колпак государства <выделено мною, — Ю.К.>. Вот когда торговал буржуй и кулак, тогда буржуазный поэт не возмущался; тогда мир был "простой и целый"...» [100]. — Лицемерие, корыстолюбие, классовый подход — весь букет ею же насаждаемых низостей — приписывает поэту новая критика.

«Пускай минувшего не жаль...»

стр.142

Прим. В.Ф.Ходасевича:

1921, 22 апр. — кончено, в ПБ. Начато в 1920, летом, в Москве, и тогда же вчерне написано. Через день издан декрет о вырывании травы с тротуаров и мостовых. Вся Москва ползала на четвереньках и полола траву. Была жара. Жгли сухую траву маленькими кострами. Все было в дыму. У меня было асфальтных плит. В Москве тротуары асфальтные. Трава их вздувает пузырями, а потом вовсе взрывает. В ПБ я асфальт заменил гранитом.

Впервые — [45].

Стихотворение это (по форме — английский сонет) отсутствует в первом издании *Тяжелой лиры* (1922) [7]. Ст.1-2 являются

праобразом ст.29-30 в стихотворении «Не матерью, но тульской крестьянкой», законченном позже. Образ пробивающейся сквозь гранит (или асфальт) травы (ст.13-14) бесконечное число раз повторен советской поэзией последующих десятилетий. — Б.Вышеславцев (см. прим. к стр.146) назвал эти стихи великолепными [92].

³⁻⁴ Смотрю с язвительной отрадой/Времен в приближенную даль... — В неопубликованном письме к М.А.Фроману, отправленном из Парижа в декабре 1925, Ходасевич пишет: «...я часто думаю, что будущее принадлежит "моему", и в этом смысле зову себя футуристом...» Н.Н.Берберова (1972) запомнила Ходасевича этого же периода иным: «Ходасевич... считал, что время работает против него (а вышло наоборот)...» [113, стр. 264].

Буря
стр.143

Прим. В.Ф.Ходасевича:

13 июня <1921>, утром. Во время сильного ненастья и подъема воды в Мойке, у окна в Доме Иск. Вечером или под вечер пришел Белый. Читал только что написанное «Первое Свидание».

Впервые — [42].

Н.Асеев (1922): «Одним словом — поглядел, поглядел, да и на подушку! Чорт с вами со всеми, моя хата с краю. Мое дело выпастся! "Мудрость" — как видно не великая...» [91]. С.Родов (1923): «Единственное, на что способен мудрец в буржуазном мире — это закрыть на все глаза и, опять-таки, заснуть /цит. ст.13-16/...» [100]. В.Брюсов (1923): «Автор все учился по классикам и до того заучился, что ничего не может, как только передразнивать внешность: /цит. ст.1-4/...» [97]. — Три направления пролетарской критики единодушны в оценке этих стихов.

«Люблю людей, люблю природу...»
стр. 144

Прим. В.Ф.Ходасевича:

15 - 16 июля <1921>.

Впервые — [45].

Б.Вышеславцев (1922) назвал эти стихи великолепными (см. прим. к стр. 146).

3-4 **И твердо знаю, что народу/Моих творений не понять...** — Стихи Ходасевича (как стихи Боратынского, позднего Пушкина, Сологуба) обладают как бы двумя уровнями постижения. Первый, семантический, более чем понятен народу; второй, эстетический, поднят над первым столь высоко, что его различают немногие: у новичков кружится голова. Стихи, например, О.Мандельштама ближе и понятнее народу: уровни сближены, усложненная семантика побуждает к поискам высокой эстетики и облегчает доступ к ней. — В этих двух стихах нет и тени пренебрежения к народу: Ходасевич просто не относит развитый художественный вкус к обязательным составляющим человеческого достоинства. Зато новых писателей, творивших для народа, нельзя было обидеть более чем уравнив их с этим народом, из которого они уже вышли, — а именно это проделал с ними Ходасевич. Стиснув зубы, пролетарская критика по этому пункту отмолчалась.

5 **Довольный малым...** — Идея довольства малым как суперпозиция стоицизма и эпикурейства — излюбленный мотив Горация — ср.: Гораций, *Сатиры* II, 2, — а также восточных поэтов. У Ходасевича эта тема обнаруживается уже в *Молодости* и пронизывает три последующие книги, в разной степени отразившись в их названиях.

9-10 **Ни грубой славы, ни гонений/От современников не жду...** — Свою диспозицию в литературе Ходасевич оценивает с замечательной точностью. Политические же гонения начались уже в 1921, и в 1922 временный выезд за границу обернулся для поэта пожизненным изгнанием. По мнению А.С.Карпова (1966), эти два стиха показывают, «как далек Ходасевич от пушкинского мироощущения» [109]: им противопоставляется реплика «Хвалу и клевету приемли равнодушно». Диалектическая мысль не встречает при этом затруднений.

12 **Вокруг террасы и в саду...** — Вероятно, в Бельском Устье Поповского уезда Псковской губернии, куда были вывезены на поправку обитатели Дома Искусств летом 1921. Ходасевич жил там в августе и сентябре.

Гостю
стр.145

Прим. В.Ф.Ходасевича:

7 июля <1921>, после какого-то препирательства с «доброй» Екат. Павл. Султановой. Я ей тогда наговорил Бог весть чего. Потом пришлось извиняться письменно.

Впервые — [45].

Е.П.Султанова-Леткова (1856-1937) — беллетристка и переводчица, член Комитета Дома Литераторов (куда входил и Ходасевич), член Ревизионной Комиссии Петроградского отдела Всероссийского Союза Писателей (20-е годы).

Вероятно, именно это стихотворение, вместе со стихотворением *Акробат*, дало повод разговорам о ниществе Ходасевича [110] (см. прим. к стр. 61). Действительно, если бы от поэта было позволительно ждать непротиворечивой философской системы, то это стихотворение выпало бы из канона Ходасевича — конечно, в предположении, что монолог лирического героя выражает точку зрения автора. Герой этого стихотворения — вовсе не последователь Ницше: он предстает своему гостю поэтом золотой поры символизма, когда — «Можно было прославлять и Бога, и Дьявола. Разрешалось быть одержимым чем угодно: требовалась лишь полнота одержимости» [12, стр. 11]. — Проф. Б.Вышеславцев [92] назвал эти стихи великолепными (см. прим. к стр. 146).

«Когда б я долго жил на свете...»
стр.146

Прим. В.Ф.Ходасевича:

8-29 июня <1921>.

Впервые — [45].

Это стихотворение, одно из замечательнейших в книге, вызывало восхищение Андрея Белого: «Он <Ходасевич> стоял на месте, и не стремясь в новизны, углублял и чеканил гравюрно неколоритные строчки... до классицизма, до стилизации? Нет: до последней черты правдивейшего отношения к себе как к поэту, которое, вдруг заблистав простотой из пестрот и персидских ковров модер-

низма, меня заставляет сказать: "Что это? Реализм доведенный до трезвой суровой прозы, иль — откровение духовного мира?" /далее цит. ст.5-12 без разбивки на катрены, последняя строка выделена/. Разве это поэзия? Простой ямб, нет метафор, нет красок — почти протокол; но протокол — правды отстоенного душевно-духовного знания. Знаете, чем волшебным освещены эти немаркие строчки? Одною строкой, вернее одним словом "почти". "Почти свободная душа". Как в "чуть-чуть" начинается тайна искусства, "почти" — суть поэзии Ходасевича...» [90]. — Этим стихотворением открывается подборка в альманахе *Северные Дни* [45], о которой проф. Б.Вышеславцев пишет: «Великолепны также стихи Владислава Ходасевича, помещенные в "Северных днях". Этот поэт делает громадные успехи: удивительно его понимание звука и образа в слове, строгая экономия его форм; но главное, ему есть что сказать, а это свойственно немногим из современных поэтов...» [92]. Это высказывание относится также к стихам: «Люблю людей, люблю природу», *Гостю*, «Пускай минувшего не жаль», *Пробочка*, *Ласточки*.

Жизель
стр.147

Прим. В.Ф.Ходасевича:

1 мая (1922), утром, в постели, больной, под оглушительный «Интернационал» проходящих на парад войск. Накануне был на «Жизели». Это последние стихи, написанные в России. День был необычайно светлый и теплый. Было очень хорошо в моей комнате с раскрытыми окнами на Мойку.

...последние стихи, написанные в России. — В июне 1922, получив в Москве заграничные паспорта №№16 и 17 сроком на шесть месяцев, Ходасевич и Н.Н.Берберова уезжают в Германию. «Отъезд наш был сохранен в тайне, этого хотел Ходасевич» [113, стр. 171]. Свои последние три дня в Петрограде поэт провел в квартире Ю.П.Анненкова на Кирочной. Он не рассматривал свой отъезд как эмиграцию. Однако вскоре стало известно, что его имя названо в числе нескольких сот литераторов и ученых, подлежащих депортации, а затем и высланных из России в конце 1922. Таким образом,

его добровольный отъезд только предупредил насильственную высылку. Уже в 1923 он «понимал, что не только возврата не будет, но что скоро нельзя будет даже печататься в русских изданиях» [113, стр. 251], что и произошло. Его сотрудничество в отечественных журналах и издательствах обрывается в 1924. — В.Бетаки (1979) приводит это стихотворение целиком, затем пишет: «Если это и звучит с цинизмом застарелого скептика, то цинизм этот — от пессимистического всезнания, всеведенья, когда, и верно, кажутся мелкими и недостойными названия трагедии оперные страсти, когда обывательский мир, мир "теплохладных" вызывает и жалость, и презрение...» [116]. Лучшим, на наш взгляд, комментарием к этим стихам служит трагическое признание Е.Боратынского: «Свой подвиг ты свершила прежде тела,/Безумная душа!..» («На что вы, дни! Юдольный мир явленья...»).

День
стр.148

Прим. В.Ф.Ходасевича:

14-18 мая (1921). Начато в Москве, весной 1920, в оттепель, с 4 и 5 строф.

Впервые — [42].

Один из первых автографов стихотворения — в альбоме Э.Ф.Голлербаха (РО ГПБ, ф.207, оп.1, №105, л.34), с пометкой: 2 июня 1921 г.

⁵⁻⁶ Здесь хорошо. Вкушает лира/Свой усыпительный покой... — В.Брюсов (1923) так комментирует эти два стиха: «...автор, наконец, обретает минуту удовлетворения: /цит. ст.5-6/. И пусть вкушает. Мы не жалеем...» [97].

⁸ В ленивой прелести земной... — В альбоме Э.Ф.Голлербаха этот стих читается так: «В извечной прелести земной...».

Из окна
стр.150-151

Впервые — [42], как цикл из двух стихотворений. — В Петрограде Ходасевич по-прежнему много болел и редко покидал свою

комнату в Доме искусств. Наблюдения из окна заменяли ему прогулки. Вот как он описывает открывавшийся ему вид: «Из моего окна виден Невский проспект. Виден не поперек, а вдоль, вплоть до угла Садовой. Под самым окном течет Мойка. Невский пересекает ее, изогнувшись горбом моста, и плавным, прямым, широким изгибом уходит вдаль. — Это не тот Невский, который некогда пестрел перед Гоголем. Теперь он по большей части пустынен. И зиму, и лето подолгу сижу я перед окном: по утрам, когда, поднимаясь из-за вокзала, "течет от солнца желтая струя"; вечерами, когда луна медленно движется над крышами строгановского дворца; и — в белые ночи...» [61]. — По свидетельству Н.Н.Берберовой, «большая часть стихов "Тяжелой Лиры" возникла именно у этого окна, из этого вида» [113, стр. 156]. — С.Родов (1923) приводит в своей статье [100] оба стихотворения со следующим пояснением: «На жизнь он <поэт> глядит "из окна", кругозор у него маленький-маленький, дальше своей улицы не видно. Сидит буржуазный поэт у окна своей квартиры, где-нибудь в переулке на Арбате или Плющихе, и мечтает: "хоть бы что-либо необычное случилось!". Не великое, понятно, — великое слишком утомительно, да и не бывает его в наше время на буржуазной улице, а так — происшествие забавное...».

1. «Нынче день такой забавный...»
стр.150

Прим. В.Ф.Ходасевича:

23 июня 1921, утром. Потом пришлось идти на рынок, продавать селедки пайковые. Последних двух стихов не было. Я их дописал, приложив бумагу к стене какого-то дома, на ходу, по дороге. Возвращаясь с рынка, сочинил частушку о матросе и б... Ритм: вихляние ее зада:

Ходит пес
Барбос,
Его нос
Курнос.
Мне вчерась
Матрос
Папирос
Принес.

Придя домой, застал у себя Гумилева и мы пошли налаживать изд-во «Мысль» и продавать 2-ое изд. «Путем Зерна». Конь умчался — на самом деле, по Полицейскому мосту, серый, в яблоках, в ломовой телеге.

В этот день, 23.06.1921, на Сенном рынке пайковые селетки продавал и другой поэт — А.А.Ахматова. Рассказ об этом дне [13, стр. 389-395] Ходасевич заканчивает следующим наблюдением: «...покупатели селедок несравненно сознательней и толковее, нежели покупатели книг...». — Ст.11-12 передают типично петербургское настроение — ср. у А.Блока: «День проходил, как всегда:/В сумасшествии тихом...» (*Жизнь моего друга*, 6 (1914)).

2. «Все жду: кого-нибудь задавит...»
стр.151

Прим. В.Ф.Ходасевича:

11 авг(уста 1921), в Бельском Устье. В этот день я узнал о смерти Блока.

Бельское Устье — «колония» Дома Искусств в Псковской губернии летом 1921. Ходасевич провел там около двух месяцев.

Н.Асеев (1922) так комментирует ст.1-4: «Душа "себе" горит, конечно, не участвуя в "страстях". А брэнное тело стоит у окошка и глядит слипающимися глазами — авось на улице какое-нибудь развлечение найдется пресыщенному взору. Ибо гроза для мудрого — какое же зрелище — вот если бы кого-нибудь автомобиль подмял — от этого и взволноваться можно...» [91].

4 Торцовую сухую пыль... — Невский, Дворцовая площадь и большинство улиц города были выстланы шестигранными деревянными торцами.

В заседании
стр.152

Прим. В.Ф.Ходасевича:

12 окт(ября 1921), в Москве, гостил у Миши. На Хелиной зеленой кушетке. Было тепло, натоплено, уютно. В Москве меня захвалили за всякие стихи.

Стихотворение написано в доме М.Ф.Ходасевича, брата поэта, присяжного поверенного. «Он был на двадцать один год старше Ходасевича, многие крупные московские процессы в свое время прошли через него...» [113, стр. 168]. — Возможно, визит в Москву напомнил поэту годы советской службы. С января 1918 Ходасевич служил секретарем третейского суда, затем в театрально-музыкальной секции Моссовета, затем в театральном отделе Наркомпроса (этот последний возглавляла О.Д.Каменева; кроме Ходасевича, в ее распоряжении находились Бальмонт, Брюсов, В.Иванов, Пастернак), а с начала 1920 заведовал Московским отделением «Всемирной Литературы» и Московской Книжной Палатой. О службе в Наркомпросе он вспоминает: «Чтобы не числиться нетрудовым элементом, писатели, служившие в Тео, дурели в канцеляриях, слушали вздор в заседаниях, потом шли в нетопленные квартиры и на пустой желудок ложились спать, с ужасом ожидая завтрашнего дня, ремингтонов, мандатов, г-жи Каменевой с ее лорнетом и секретарями. Но хуже всего было сознание вечной лжи, потому что одним своим присутствием в Тео и разговорами об искусстве с Каменевой мы уже лгали и притворялись...» [13].

Ст.4-9 этого стихотворения С.Родов (1923) сопровождает репликой: «После этого... понятно, что он ненавидит людей...» [100].

«Ни розового сада...»

стр.153

Прим. В.Ф.Ходасевича:

19 окт<ября 1921>. По возвр. из Москвы. Накануне получил книгу Г.Иванова «Сады».

Впервые — [46].

По изданию Н.Н.Берберовой [14], год написания стихотворения — 1922, что невозможно: 19.10.1920 Ходасевич жил еще в Москве, а 19.10.1922 — уже в Саарове. — Эту своеобразную стихотворную рецензию на книгу Г.Иванова (1921, «Петрополис») дополняет в прозе Софья Парнок, называя *Сады* «духовно-убогими и, следовательно, художественно-мертвенными» (*Шиповник*, №1, М., 1922, стр. 173).

Стансы
(«Бывало, думал: ради мига...»)
стр.154

Прим. В.Ф.Ходасевича:

17-18 авг<уста 1922>, в Misdroy. Начато еще в Петербурге, перед отъездом.

Впервые — [48], без названия.

Это стихотворение отсутствует в первом издании книги [7].

¹⁻⁵ Бывало, думал: ради мига/...Теперь иные дни настали... — Здесь отрицается одна из основных концепций символизма: «Берем мы миги, их губя» (В.Брюсов).

³ Цены не знает прощальга... — Следуя [4], мы сохраняем не вполне привычную форму прощальга, хотя уже В.Даль дает это слово в его современной форме: прощельга.

¹² И слышу, как растет трава... — Перифраз Е.Боратынского: «И чувствовал трав прозябанье...» (*На смерть Гете*, 1832).

Пробочка
стр.155

Прим. В.Ф.Ходасевича:

17 сент<ября 1921>, в Бельском Устье. Никак не мог придумать продолжения. Оставил 4 стиха, увидав, что продолжать и не надо.

Впервые — [45].

Стихотворение это было читано на одном из заседаний «Московского клуба писателей» в Берлине зимой 1922/23, где Ходасевич выступал вместе с А.Белым. — «Андрей Белый пришел в совершеннейший восторг от этого стихотворения. Он говорил о "виртуозной скупости слов", о том, что в стихах Ходасевича каждое слово, как в ванне Архимеда, вытесняет всю лишнюю влагу, и удельный вес звука становится совершенно точным... "Стихи Ходасевича тверды, как камень, в них нет ни капли влаги"...» [112]. — Б.Вышеславцев назвал эти стихи великолепными (см. прим. к стр.146).

Из дневника
стр.156

Прим. В.Ф.Ходасевича:

10 июня (1921), утром, в постели. Я был в ужасном состоянии. Хотел бежать из России, покончить с собой.

Впервые — [42].

Мысль о самоубийстве не оставляет Ходасевича даже в его петроградский период, который он сам назвал «сносным» [62]. Н.Н.Берберова сообщает: «Такие настроения начались у него рано, пожалуй, можно сказать, что они у него были с самых ранних лет. Они кончились только с его смертью, которую он в конце концов принял как давно ожидаемое освобождение...» [113, стр. 252].

¹⁻⁴ Мне каждый звук терзает слух... — Н.Асеев (1922) цитирует эту строфу и, возражая А.Белому, спрашивает: «В чем же "новизна и правда"? В отворачивании в угол носом от всякого звука и света? В закрывании глаз на все происходящее?...» [91].

⁵⁻⁶ Прорежется — и сбросит прочь... — В.Брюсов (1923): «...словом, прорезавшийся зуб сбрасывает десны!..» [97]. Брюсов полагает, что метафора первой строфы обязательно должна быть продолжена во второй и Ходасевич допустил композиционный промах.

Ласточки
стр.157

Прим. В.Ф.Ходасевича:

18-24 июня (1921). Кончил (посл. строфа) у раскрытого окна, вскочив с постели, в одной рубашке. Утро было ослепительное, но дул сильный ветер.

Впервые — [45].

Анонимный рецензент (предположительно — И.М.Наппельбаум) цитирует ст.11-12, замечая: «Поэт ясно ощущает рядом другой мир и свою душу, стесненную в земной оболочке...» [101]. — Б.Вышеславцев (1922) назвал эти стихи великолепными (см. прим. к

стр.146). — А.Белый (1922): «...вот стихотворение "Ласточки". Имеющий ухо да слышит! /цит. ст.1-12; ст.9-12 выделены/. Здесь прием тот же: стихотворение умеркает тенями неяркости; вдруг "чуть-чуть" — свет, штрих, зигзаг поэтической правды (отстой многих жизненных лет); и — Рембрандтов рисунок; неяркость, немаркость — прием для "света правды": /снова цит. ст.9-11/...» [90].

«Перешагни, перескочи...»
стр.158

Прим. В.Ф.Ходасевича:

1922, 11 янв. кончил: последние 3 стиха. Начато еще весной 1921.

Впервые — [46].

Анонимный рецензент (1923) считает, что ст. 1-3 «...говорят о совершенстве мастерства...» [101]. — По мнению Ю.Тынянова (1924), стихотворение это, вместе с первой (1921) *Балладой*, «выпадает из ... канона» Ходасевича: «...это ... почти розановская записка, с бормочущими домашними рифмами, неожиданно короткая, — как бы внезапное вторжение записной книжки в классную комнату высокой лирики...» [104]. В контексте осторожно-скептической заметки Тынянова эта реплика означает сдержанную похвалу.

«Смотрю в окно — и презираю...»
стр.159

Прим. В.Ф.Ходасевича:

21-25 мая (1921), ночью, в постели.

Ст.1-2 пренебрежительно — и поразительно неточно — цитирует В.Брюсов, забывший, вероятно, свое *Презрение* (1909):

Великое презрение и к людям и к себе
Растет в душе властительно, царит в моей судьбе.

Природа мизантропии двух поэтов совершенно различна. Подобно Пушкину, Ходасевич, говоря его же словами, «себя... подчинил

голосу внутренней правды... в творчестве своем судил себя страшным судом» [61] совести. Новой литературе это иго оказалось не по плечу. Яркий ее представитель, С.Родов (1923), приведя в своей рецензии это стихотворение целиком, пишет: «Действительно, так смотреть на мир может не человек, а только червяк...» [100].

7-8 Так вьется на гряде червяк... — А.Белый (1922): «Последние две строки одним штрихом вычерчивают весь рельеф восьми-стишия; стихотворение, как картина, выходит из рамы: становится жизнью — правдой души...» [90].

Сумерки
стр.160

Прим. В.Ф.Ходасевича:

5 ноября <1921>, в сумерки, по дороге на Кронверк-ский.

Впервые — [40].

На Кронверкском проспекте 23, в квартире М.Горького, жила Валентина Михайловна Ходасевич-Дидерикс, племянница поэта. К этому времени она уже «сделалась своим человеком в его <Горького> шумном, всегда многолюдном доме...» [12]. — Мотив убийства-спасения, освобождающего дух от плоти, возникает в творчестве Ходасевича по крайней мере еще дважды: см. «Не верю в красоту земную» (стр. 177) и *An Mariechen* (второй том настоящего Собрания).

Вакх
стр.161

Прим. В.Ф.Ходасевича:

8 ноября <1921>. Никто этих стихов не понимает.

В этом аллегорическом стихотворении современники увидели, вероятно, лишь стилизацию. Относительно заключенной в нем загадки можно предположить следующее. В поэзии Ходасевича идея

ботанической **прививки** (и само это слово в глагольных формах) встречается только дважды: в этом стихотворении (ст.5) и в *Петербурге* (см. второй том настоящего Собрания), где читаем:

И каждый стих гоня сквозь прозу,
Вывихивая каждую строку,
Привил-таки классическую розу
К советскому дичку.

Таким образом, Вакх есть аллегория самого поэта, а **животворящий сок** — его поэзии, скрытой в лозе до наступления срока. Косвенное подтверждение этой гипотезы находим также в неизданном письме Ходасевича к ленинградскому поэту и беллетристу М.А.Фроману: «...я часто думаю, что будущее принадлежит "моему", и в этом смысле зову себя футуристом...» (декабрь 1925). — Стихотворение это впервые читано автором 21 ноября 1921 у И.М.Наппельбаум, по адресу: Невский 72 кв.10. Среди слушателей была Н.Н.Берберова. Это была первая встреча будущих супругов.

Лида
стр.163

Прим. В.Ф.Ходасевича:

30 окт<ября 1921>, ПБ. Начато в Бельском Устье, 16 авг., в виде шуточных стихов, в письме к Бор. Диатроптову. Потому и игра слов: **высоких** слов... но грудь **высока**.

Сопоставление этого стихотворения со стихотворением Е.Боратынского *Лиде* приводит к (быть может, несколько спекулятивному) допущению о том, что второе послужило камертоном первому. Привлекает внимание общность интонации первых четырех стихов. У Боратынского:

Твой детский вызов мне приятен,
Но не желай моих стихов:
Немногим избранным понятен
Язык поэтов и богов.

Оба стихотворения написаны классическим четырехстопным ямбом, содержат по 28 строк и описательную рустическую часть, оба за-

канчиваются на отвлеченной ноте возвышением поэтического голоса. Существенное отличие состоит в том, что исходная зарисовка и самое имя Лида у Боратынского условны, а у Ходасевича взяты из окружавшей его реальности: Лида — дочь кучера в Бельском Устье.

²¹ Ни за любовь, ни за кольцо... — Романтическая любовь всегда противопоставлялась золоту и отрицала его. Земная любовь предполагает труд, равносильный капиталовложению. Замечательный поворот мысли — уравнивание любви и презренного металла — уходит, как это часто встречаем у Ходасевича, в сень проверенной временем и почти банальной рифмы, тем самым как бы искупая ее.

Бельское Устье
стр.164

Прим. В.Ф.Ходасевича:

ПБ. 31 декабря <1921>. Кончил, поехал в Дом Литер. на встречу Нового Года. Сидел за столом с Замятиным, Слонимским и Н. С этого вечера и началось.

Началось — увлечение Ходасевича Н.Н.Берберовой, приведшее к их совместному отъезду за границу в июне 1922 и десятилетнему супружеству. Они познакомились 21 ноября 1921.

Нина Николаевна Берберова (р.1901) — поэтесса и беллетристка, составившая себе имя в русской эмиграции, третья жена Ходасевича. Ей принадлежат романы *Последние и первые* (1930), *Повелительница* (1932), *Без заката* (1938), *Мыс Бурь*, сборники рассказов, пьесы, а также ряд посмертных статей о Ходасевиче и автобиография, включающая воспоминания о нем [113].

Дом Литераторов, упомянутый в примечании Ходасевича, находился по адресу Бассейная 11 (теперь ул.Некрасова). Ходасевич был одним из двадцати членов Комитета Дома Литераторов.

«Горит звезда, дрожит эфир...»
стр.166

Прим. В.Ф.Ходасевича:

4 дек<абра 1921>, днем.

«Играю в карты, пью вино...»
стр.167

Прим. В.Ф.Ходасевича:

4-6 февр(аля 1922), в Москве, у Миши, в ожидании гостей и преферанса.

Миша — М.Ф.Ходасевич, старший брат поэта, известный московский юрист, присяжный поверенный. Он был старше В.Ф.Ходасевича на 21 год и со студенческих лет поэта оказывал ему материальную помощь и покровительство. — Карты в течение всей жизни оставались страстью Ходасевича. По его словам, «азартная игра, совершенно подобно поэзии, требует одновременно вдохновения и мастерства» [13].

Автомобиль
стр.168

Прим. В.Ф.Ходасевича:

2-5 дек(абря 1921). Перед тем куда-то ходил ночью по Фонтанке. Это — угол Фонтанки и Невского. Крылья — эскиз (акварель) Иванова «Благовещение» (Румянц. Музей).

Впервые — [43].

С.Родов (1923) приводит это стихотворение целиком со следующим пояснением: «Что же это за автомобиль такой? Мы можем с большой долей вероятности предположить, что автомобиль этот и есть революция, которая разрушила "простой и целый" мир буржуа, хотя ... мистический автомобиль может иметь не одно только это объяснение...» [100].

Вечер
«Под ногами скользь и хруст...»
стр.170

Прим. В.Ф.Ходасевича:

23 марта (1922). История с проволокой. Стихи плохи.

Впервые — [39], без названия.

Это, вероятно, единственное во всей русской поэзии стихотворение, где каждому мягкому мужскому окончанию стиха соответствует в рифме мужское же твердое окончание. Реплика Ходасевича — «стихи плохи» — связана с общим его отрицательным отношением к формальному экспериментаторству, в частности, в рифме. — Г.Лелевич: «Разумеется, "никто не объяснит", почему на "склоне лет" Ходасевичу хочется "коченеть" и выкидывать другие чудачества. И точно так же никто не объяснит, каким образом эти стихи попали не на страницы каких-нибудь эмигрантских "Сполохов", а на страницы "Красной Нови". /.../ В области стихотворной идеологии фронт на участке "Красной Нови" прорван. Немногие пролетарские писатели, привлеченные к участию в "Красной Нови", находятся в "капиталистическом окружении"..."» (*Молодая Гвардия*, 1923, №1, стр. 274).

«Странник прошел, опираясь на посох...»

стр.171

Прим. В.Ф.Ходасевича:

11 апреля <1922>, днем, у окна в Доме Иск.

Впервые — [39].

Стихотворение это адресовано Н.Н.Берберовой. Оно отсутствует в первом издании *Тяжелой лиры*. В мае 1922 Ходасевич и Берберова ездили в Москву для устройства своего выезда за границу. Н.Я.Мандельштам (*Вторая книга*, стр. 161) сообщает: «Ходасевич пробыл в Москве несколько дней и два-три раза заходил к нам. В Союзе поэтов ему устроили вечер, куда собралась по тому времени огромная толпа...» Среди прочих он читал там и это стихотворение.

Порок и смерть

стр.172

Прим. В.Ф.Ходасевича:

2 ноября <1921>.

Впервые — [40].

3 Порок и смерть язвят единым жалом... — Через восемь месяцев эта мысль будет развернута Ходасевичем в целое стихотворение (*An Mariechen*, см. второй том настоящего Собрания).

6 Утешный ключ от бытия иного... — С.Родов (1923): «Когда человеку нечего делать на земле, когда он обречен вместе со своим классом к гибели... естественно искать утешения в потустороннем мире... Пусть утешаются иным бытием. Мы вполне удовлетворимся земным...» [100].

Элегия
стр.173

Прим. В.Ф.Ходасевича:

20-22 ноября <1921>, на Кронверкском, у Вали.

Впервые — [40].

Валя — Валентина Михайловна Ходасевич, в замужестве Дидерикс, художник, автор портретов Горького и Ходасевича, племянница поэта. Долгое время она со своим вторым мужем И.Н.Ракицким, тоже художником, жила на правах домочадцев в квартире Горького на Кронверкском проспекте 23, в Петрограде. — Стихотворение это, в не вполне законченном виде, было читано Ходасевичем 21 ноября 1921 на литературном вечере в квартире Иды Моисеевны Наппельбаум (Невский пр. 72 кв. 10). «...”Элегия” потрясла меня...», сообщает Н.Н.Берберова [113, стр. 151].

«На тускнеющие шпили...»
стр.174

Прим. В.Ф.Ходасевича:

24 окт<ября 1921>, у окна в Доме Иск<усств>. Первой прочел Форш и посвятил ей по ее просьбе. В самом деле, шел первый снег.

Впервые — [43], с посвящением О.Д.Форш.

В Петербурге О.Д.Форш была «одним из ближайших друзей Ходасевича» [113, стр. 266]. «Приехав <летом 1927> в Париж, она сейчас же пришла к нам... разговорам их не было конца...» [113].

Этот ее визит к Ходасевичу и Берберовой так и остался единственным. Из советского посольства последовало запрещение общаться с Ходасевичем, не распространявшееся на некоторых других эмигрантов, например, Н.А.Бердяева и А.М.Ремизова. Форш не решилась его нарушить. Возможно, с этим и связано снятие посвящения.

Март
стр.175

Прим. В.Ф.Ходасевича:
30 марта <1922>. Плохо.

Впервые — [39], без названия.

«Старым снам затерян сонник...»
стр.176

Прим. В.Ф.Ходасевича:
13 апр(еля 1922), Страстная Пятница, кажется; у окна в Доме Искусств).

Дом Искусств открылся 19 ноября 1919 и просуществовал до осени 1922, когда, по выражению Ходасевича, «Зиновьев его разогнал» [13]. Это был добровольный союз художников и писателей, во главе которого стоял Высший совет. Ходасевич не был членом Диска как творческого союза. Однако при Диске было общежитие, в котором жили многие писатели. Ходасевич получил там две комнаты: вторую заняла А.И.Ходасевич-Чулкова и ее сын от первого брака Э.Грацион. Диск помещался в доме, выходящем тремя своими фасадами на Мойку, Невский и Б.Морскую (теперь ул. Герцена). Точный адрес Ходасевича в Петрограде: ул. Герцена 14 кв. 30а, комната 10.

«Не верю в красоту земную...»
стр.177

Прим. В.Ф.Ходасевича:
27 марта <1922>, в постели, больной, под болтовню С.Бернштейна.

Это стихотворение отсутствует в первом издании *Тяжелой лиры*. Ходасевич читал его, в числе прочих, в свой последний приезд в Москву, в Союзе поэтов на Тверском бульваре (см. прим. к стр.171).

С.Бернштейн — возможно, Сергей Игнатьевич Бернштейн, лингвист, автор известной статьи *Голос Блока*.

«Друзья, друзья! Быть может, скоро...»
стр.178

Прим. В.Ф.Ходасевича:

25 дек(абря 1921). Это конец стихотворения. Начало (3 строфы о фокуснике, берущем из воздуха монеты) — выброшено.

Стихотворение впервые опубликовано в газете *Московский Понедельник*: 1922, №1 от 12 июня, стр.3, без разбивки на катрены.

¹ Друзья, друзья! Быть может, скоро... — В первой публикации этот стих читается так: «Друзья мои! Быть может, скоро...».

⁵ Души, запевшей, как смычок... — Слово **смычок** мы даем в установившейся орфографии. У Ходасевича: **смычек**.

¹¹ О, если бы и вы со мною... — В первой публикации было: «О, если бы и вы за мною...».

Улика
стр.179

Прим. В.Ф.Ходасевича:

7-10 марта (1922). 7 марта была Н. (Берберова). Потом пришел Верховский, читал сонеты и пил чай.

Ю.Н.Верховский (1878-1956) — поэт, переводчик и литературовед. В письме к нему от 8 августа 1922, из Берлина в Петроград, Ходасевич пишет: «...помню и люблю Вас не только как поэ-

та, но и как хорошего человека. Очень мне дорога память о Вашей дружбе...» [72].

Стихотворение это Ходасевич читал в Москве, в июне 1922, на вечере, устроенном для него в Союзе поэтов на Тверском бульваре, накануне эмиграции.

⁶ Я вдруг с растерянным лицом... — В первом издании *Тяжелой лиры* [7] этот стих читался так: «Порой с растерянным лицом...».

«Покрова Майи потаенной...»
стр.180

Прим. В.Ф.Ходасевича:
23-24 апр(еля 1922), днем.

Впервые — [39].

Стихотворение это читано Ходасевичем в Москве, в Союзе поэтов, в ряду прочих стихов, связанных с Н.Н.Берберовой, незадолго до их совместного выезда за границу. См. прим. к стр. 171, 177, 179.

«Большие флаги над эстрадой...»
стр.181

Прим. В.Ф.Ходасевича:
26 июня (1922), Рига — 17 июля (1922), Берлин. Первые стихи за границей.

Ходасевич и Берберова приехали в Берлин 30 июня 1922. См. также прим. к стр. 147. — Это стихотворение отсутствует в первом издании *Тяжелой лиры*.

«Гляжу на грубые ремесла...»
стр.182

Прим. В.Ф.Ходасевича:
19-20 авг(уста 1922). Misdroy.

Это стихотворение отсутствует в первом издании *Тяжелой лиры*.

¹⁸ Другие подошли к нему... — Одна из ранних редакций этого стиха сохранилась в *Списке ИФ* [15]: «Идут такие же к нему...».

«Ни жить, ни петь почти не стоит...»
стр.183

Прим. В.Ф.Ходасевича:
21-23 июля (1922), в Берлине.

Это стихотворение отсутствует в первом издании *Тяжелой лиры*.

¹ Ни жить, ни петь почти не стоит... — А.Белый (1922): «Как в "чуть-чуть" начинается тайна искусства, "почти" — суть поэзии Ходасевича...» [90]. Реплика А.Белого связана со стихотворением, помещенным на стр. 146. Она была известна Ходасевичу. Настоящее стихотворение написано после ее опубликования.

⁷ В нем заключенное биенье... — В *Списке ИФ* [15]: этот стих представлен своей ранней редакцией: «Невоплотимое биенье...».

Баллада
(«Сижу, освещаемый сверху...»)
стр.184

Прим. В.Ф.Ходасевича:

Нач(ато) 9 дек(абря 1921), когда были Щеголевы. Кон(чено) (почти все написано, кроме 1-ой строфы) — 22 декабря (1921), днем. Вечером читал у Наппельбаум. 22-го был сильный мороз, яркий день с синими сумерками. Только что кончил, буквально еще перо в руках держал, — пришел К.И.Чуковский. Прочел ему. Все время помнил, когда писал, Ван-Гога: Биллиардную и Прогулку арестантов, особ. — Билл(иардную).

Щеголевы. — Павел Елисеевич Щеголев (1877-1931) — историк русского революционного движения, литературовед-пушкинист; основной труд — *Дуэль и смерть Пушкина* (1916); как и Ходасевич, он входил в число членов Правления Петроградского Отдела Всероссийского Союза Писателей. Его жене, Валентине Андреевне, посвящены *Три послания* А.Блока.

Н.Н.Берберова дает другую дату первого чтения *Баллады*: «23-го декабря он опять был у Иды (Моисеевны Наппельбаум) и читал "Балладу". Не я одна была потрясена этими стихами. О них много тогда говорили в Петербурге...» [113]. — По мнению Ю.Тынянова (1924), *Баллада*, вместе с «Перешагни, перескочи» (стр. 158), "выпадает из канона" Ходасевича, т.е. выгодно отличается от прочих его стихов: «...есть у Ходасевича стихи, к которым он сам, видимо, не прислушивается. Это его "Баллада"... со зловещей угловатостью, с нарочитой неловкостью стиха... Обычно же голос Ходасевича, полный его голос — для нас не настоящий...» [104]. — В.Андреев (1969) пишет: «"Баллада" — самое музыкальное стихотворение Ходасевича, самое "магическое" в творчестве поэта, далекого от магии слова. Стихотворение слишком известно, чтобы приводить его целиком, но три строфы я все же напомним: /цит. ст.21-32/...» [112]. Говоря о *Балладе* как о стихотворении «слишком известном», В.Андреев невольно обнаруживает свою принадлежность к эмигрантской, а не к советской литературе: в первой имя Ходасевича окружено заслуженным пиететом, во второй — намеренно замалчивается. Покойный Вадим Леонидович Андреев, по его собственному признанию страстно желавший быть **русским** писателем [112], восстановил свое советское подданство в сороковых годах, однако в Россию не вернулся.

2 ...в комнате круглой моей... — «Та часть Дома Искусств, где я жил, была когда-то занята меблированными комнатами, вероятно, низкопробными... сами комнаты, за немногим исключением, отличались странностью формы. Моя, например, представляла собою правильный полукруг...» [13]. Так характеризует свое петроградское жилье Ходасевич в 1939, ровно за два месяца до смерти.

21-32 **Бессвязные, страстные речи...** — Эти три строфы В.Андреев сопровождает замечанием: «Какое удивительное признание в устах поэта, всю жизнь доказывавшего примат смысла над звуком слова!...» [112]. Сходным образом понимает Ходасевича и Н.Н.Бер-

берова, утверждающая, что он «математику всегда предпочитал мистике...» [13, Предисловие]. Оба писателя правы лишь отчасти. Ходасевич никогда не отводил какому-либо элементу стиха доминирующей роли. Он не доказывал, а утверждал своим творчеством — эстетику точности, адекватную его созерцательному сознанию. Мистическая природа слова и мистический смысл точности были открыты ему в равной мере. Трудно поверить, что в математике он видел нечто противоположное мистике.



ДОПОЛНЕНИЯ

Стихотворения, исключенные из последней авторской редакции книг

Таких стихотворений десять: семь из них входило в *Путем зерна* издания 1921 года и три — в *Тяжелую лиру* издания 1922. По своим художественным достоинствам они в целом не уступают стихам, включенным в итоговый сборник 1927 года. (Лишь *Уединение* (1915, стр. 190) должно быть отнесено к раннему творчеству Ходасевича, именно, к периоду *Счастливого домика*.) Выведение из структуры книг уже издававшихся стихов и полное отбрасывание всего раннего творчества связаны, по нашему убеждению, с тем, что на конец 1920-х — начало 1930-х годов приходится пик равнодушия к поэзии как в России, так и в эмиграции. Н.Н.Берберова (1972) вспоминает об этом времени: «В Париже ему говорили: помилюйте, мы не можем платить вам больше, чем Лоло (Мунштейну), его так любит публика!» [113, стр. 254].

Уединение стр. 190

Возможно, ст.2-4 этого стихотворения дали название третьей книге Ходасевича или, наоборот, должны были пролить свет на это название. Само же стихотворение, и лексически и интонационно, относится еще не к *Путем зерна*, а к *Счастливому домику*.

Воспоминание
стр.193

Почти несомненно, что толчком к этому стихотворению послужил какой-то реальный эпизод. В этом убеждает рассмотрение других стихотворений поэта, органично связанных с его жизнью. Вероятно, и само имя **Алина** — не условное, а реальное: его находим в «шуточном "дон-жуанском списке"» [113], набросанном Ходасевичем для Н.Н.Берберовой в июне 1922. Вот этот список:

Евгения	/Кун? 1898?/
Александра	
Александра	/Тарновская? 1903?/
Марина	/М.Э.Рындина/
Вера	
Ольга	
Алина	
Наталья	
NN	
Мадлен	
Надежда	
Евгения	/Муратова? 1910/
Евгения	
Татьяна	/Саввинская? 1912?/
Анна	/А.И.Чулкова/
Екатерина	
Н.	/Н.Н.Берберова/

Замечание З.А.Шаховской (1975) о том, что Ходасевич «пользовался в молодости большим успехом у женщин» [114], как будто бы подтверждаемое числом имен в списке, не кажется нам бесспорным. Ходасевич перечислил здесь тех, кто затронул его воображение, а не тех, кто отвечал ему взаимностью. Женщины не занимали сколько-нибудь значительного места в его жизни.

Сердце
стр.194

И.Оксенов (1922): «Новое <1921> издание книги дополнено несколькими стихотворениями, по-прежнему характерными для

обостренной чуткости поэта к своему внутреннему миру. Таково, напр., "Сердце" /цит. ст.1-8/...» [89].

«Слепая сердца мудрость! Что ты значишь...»

стр.197

С.Родов (1923) сопровождает первую строфу этого стихотворения комментарием: «Буржуазия потеряла не только чувство жизни, но и мудрость...» [100].

ЛИТЕРАТУРА

Сочинения и публикации В.Ф.Ходасевича

Книги: оригинальные сочинения и стихотворные переложения

1. Молодость. Первая книга стихов. Стихи 1907 года. М., «Гриф», 1908. 62 с.
2. Счастливый домик. Вторая книга стихов. М., «Альциона», 1914. 75 с. — Изд. 2-е. Пб.-Берлин, изд. З.И.Гржебина, 1921. 75 с. — Изд. 3-е. Берлин-Пб.-М., изд. З.И.Гржебина, 1922. 74 с.
3. Путем зерна. Третья книга стихов. М., «Творчество», 1920. 48 с. — Изд. 2-е, доп. Пб., «Мысль», 1921.
4. Из еврейских поэтов. Пб., изд. З.И.Гржебина, 1921. 76 с. — Изд. 2-е. Пб.-Берлин, изд. З.И.Гржебина, 1922. — Изд. 3-е. Берлин, изд. З.И.Гржебина, 1923.
5. Статьи о русской поэзии. Пб., «Эпоха», 1922. 122 с. — Изд. 2-е. Pridaux-Press, Letchworth-Herts, [1971]. (Russian Titles for the Specialist. №17).
6. Загадки. Сказка. Рис. В.Замирайло. Пб., «Эпоха», 1922.
7. Тяжелая лира. Четвертая книга стихов. М.-Пг., ГИЗ, 1922. — Изд. 2-е. Берлин-Пб.-М., изд. З.И.Гржебина, 1923. — Изд. 3-е. Анн Арбор, «Ардис», [197-]. 60 с.
8. Поэтическое хозяйство Пушкина. Л., «Мысль», 1924. 156 с.
9. Собрание Стихов. («Путем зерна», «Тяжелая лира», «Европейская ночь»). Париж, «Возрождение», 1927. 184 с. — Изд. 2-е. Нью-Йорк, «Руссика», 1978.
10. Державин. Биография. Париж, «Современные Записки», 1931. 314 с. — Изд. 2-е. Wilhelm Fink Verlag, München, 1975.
11. О Пушкине. К 100-летию со дня смерти. Берлин, «Петрополис», 1937. 195 с.
12. Некрополь. Воспоминания. Брюссель, «Петрополис», 1939. 280 с. — Изд. 2-е. Париж, YMCA-Press, [1976].
13. Литературные статьи и воспоминания. Под ред. и с предисл. Н.Берберовой. Нью-Йорк, Изд-во им. Чехова, 1954. 414 с. — То же. Под загл.: Избранная проза. Предисл. и прим. Н.Берберовой. Нью-Йорк, «Руссика», 1982. 344 с.
14. Собрание Стихов. (1913-1939). Ред. и прим. Н.Берберовой. Мюнхен, Изд. И.Башкирцев, 1961. 239 с.
15. Полное Собрание Стихов. (1905-1939). М.-Л., [Самиздат], 1963. (Содержит 230 оригинальных стихотворений и набросков, уступая в полноте настоящему Собранию. Анонимным со-

ставителем предпринята не вполне удавшаяся попытка расположить стихотворения в хронологическом порядке. Восемь больших стихотворений, квалифицированных как поэмы, отнесены в конец сборника. Многие стихотворения даны в первоначальной, в дальнейшем подвергшейся исправлениям, редакции. В Примечаниях упоминается под условным названием *Список ИФ*. Другие известные нам списки стихов Ходасевича не носят следов редакторской работы).

Книги: прозаические переводы и редакторские публикации

16. Сигизмунд КРАСИНСКИЙ. Иридион. Пер. с польского Владислава Ходасевича. М., «Польза», В.Антик и К°, 1910. 208 с. (Универсальная б-ка. №234-235).
17. Русская лирика. Избранные произведения русской поэзии от Ломоносова до наших дней. Сост. В.Ходасевич. М., «Польза», В.Антик и К°, 1914. 300 с. (Универсальная б-ка. №597-599).
18. Ст.Пишибышевский. Дети горя. Роман. Пер. с польского Владислава Ходасевича. — *Новая Жизнь*, 1914, №1-5.
19. Война в русской лирике. Сборник. Сост. В.Ходасевич. М., «Польза», В.Антик и К°, 1915. 112 с. — Изд. 2-е [М.], Акц. о-во «Универсальная б-ка», 1915. (Универсальная б-ка. №960).
20. Ст.Пишибышевский. Адам Джазга. Роман. Авторизованный пер. с рукописи Владислава Ходасевича. [М.], Акц. о-во «Универсальная б-ка», 1916. 269 с.
21. А.С.Пушкин. Драматические сцены. Ред. и прим. В.Ф.Ходасевича. М., Акц. о-во «Универсальная б-ка», 1918. 85 с.
22. Еврейская антология. Сб. молодой еврейской поэзии. Под ред. В.Ф.Ходасевича и Л.Б.Яффе. М., «Сафрут», 1918. — Изд. 2-е. Берлин, изд. З.И.Гржебина, 1922. — Изд. 3-е. Берлин, изд. С.Д.Зальцмана, 1922. 205 с.

Стихотворные публикации в периодике и сборниках

23. /Стихи/. — *Альманах книгоиздательства «Гриф»*. Ред. С.А.Соколов. М., 1905.
24. Молодость. — *Корабли*. Сб. стихов и прозы. М., тип. И.Н.Холчев и комп., 1907.

25. /Стихи/. — *Аполлон*. Лит. альманах Аполлона. 1910, №8, с.7-10.
26. /Стихи/. — *Антология*. М., «Мусагет», 1911.
27. /Стихи/. — *Русская Мысль*, 1912, №7, с.87.
28. /Стихи/. — *Северные Записки*, 1913, №8, с.5-6.
29. /Стихи/. — *Современник*, 1913, №8, с.50-51.
30. В немецком городке. — *Новая Жизнь*, 1914, №6, с.3.
31. Из мышинных стихов. — *Аполлон*, 1914, №10, с.8-9.
32. Мыши. — *Альманах «Гриф»*. 1903-1913. Ред. С.Кречетов. М., «Гриф», 1914.
33. /Стихи/. — *Новая Жизнь*, 1915, №4, с.87.
34. /Стихи/. — *Северные Записки*, 1916, №11, с.28-29.
35. Из книги «Фарфоровый венок». — *Ветвь*. Сборник Клуба московских писателей. М., «Северные Дни», 1917.
36. /Стихи/. — *Весенний салон поэтов*. М., «Зерна», 1918.
37. /Стихи/. — *Эпоха*. Кн.І. М., А.А.Левинсон, 1918.
38. /Стихи/. — *Дом Искусств*, 1921, №1.
39. Заметки. — *Красная Новь*, 1922, №4/8, с.87-88.
40. /Стихи/. — *Петербургский сборник*. Поэты и беллетристы. Пб., «Летопись Дома литераторов», 1922.
41. /Стихи/. — *Литературная мысль*. Альманах. І. Пг., «Мысль», 1922.
42. Стихотворения. — *Записки Мечтателей*, 1922, №5.
43. /Стихи/. — *Лирический круг*. Страницы поэзии и критики. І. М., «Северные дни», 1922.
44. /Стихи/. — *Московский альманах*. І. М., Т-во Книгоиздательства писателей в Москве, 1922.
45. Шесть стихотворений. — *Северные дни*. Сб.2. М., 1922.
46. /Стихи/. — *Шиповник*. Сборник литературы и искусства. Под ред. Ф.Степуна. №1. М., «Шиповник», 1922.
47. /Стихи/. — *Петроград*. Лит. альманах. І. Пг.-М., 1923.
48. /Стихи/. — *Наши дни*. Художеств. альманахи. №3. М.-Пг., ГИЗ, 1923.
49. /Стихи/. — *Беседа*, 1923, №1 (май-июнь), с.7-10.
50. Европейская ночь. — *Москва*, 1963, №1, с.131-135.

Статьи, рецензии, письма

51. Ян Врочинский. Гавоты. Львов, 1905. — *Весы*, 1905, №5, с.55-56.
52. О VII сборнике т-ва «Знание». — *Золотое Руно*, 1906, №1.
53. Ф.Сологуб. «Тяжелые сны». — *Золотое Руно*, 1906, №2.
54. Собрание стихотворений Д.Ратгауза. — *Золотое Руно*, 1906, №4.

55. Русская поэзия. Обзор. — *Альциона*. Альманах изд-ва «Альциона». Кн. I. М., 1914, с. 193-217.
56. /Вступительная статья/. — В кн.: *В.П.Титов. Уединенный домик на Васильевском*. Повесть. М., 1915.
57. Одна из забытых. Рец. на Собр. Соч. Каролины Павловой. М., 1915. — *Новая Жизнь*. Лит.-обществ. альманах. III. М., 1916, с. 195-198.
58. Сахарный Пушкин. — *Русские Ведомости*, 1916, 9 ноября, № 259.
59. Колеблемый треножник. — В сб.: *Пушкин и Достоевский*. Пб., изд. Дома Литераторов, 1921. — То же в: 5. — То же: *Мосты*, № 9, 1962.
60. Об Анненском. — *Феникс*. Сборник художественно-литературный, научный и философский. Кн. I. М., «Костры», 1922.
61. Окно на Невский. — *Лирический круг*. Страницы поэзии и критики. I. М., «Северные дни», 1922, с. 79-84.
62. /О себе/. — *Новая Русская Книга*, 1922, № 7, с. 36-37.
63. /Письмо в редакцию/. — *Русский Современник*, 1924, № 4, с. 281-284.
64. /Письмо в редакцию/. — *Беседа*, 1924, № 6-7, с. 478-479.
65. Письмо А.И.Куприну. — *Последние Новости*, 1924, № 1251.
66. Господин Родов. — *Дни*, 1925, 22 февр.
67. Как я «культурно-просвещал». — *Последние Новости*, 1925, № 1578.
68. Книги и люди. С.Я.Парнок. — *Возрождение*, 1933.
69. /О воспоминаниях А.Белого/. — *Возрождение*, 1934, 28 июня, 5 июля; 1938, 27 мая.
70. Брюсов. — *Современные Записки*, 1925, XXIII. — То же в: 12.
71. Горький. — *Современные Записки*, 1940, LXX.
72. Из литературного наследия В.Ф.Ходасевича. — *Вестник РХД*, 1979, № 130, с. 221-231.

Библиография

73. В. Б р ю с о в. Дебютанты. /.../ Владислав Ходасевич. Молодость. — *Весы*, 1908, № 3, с. 79-80.
74. В. Г о ф м а н. В.Ходасевич. Молодость. Стихи 1907. — *Русская Мысль*, 1908, VII, с. 203-204.
75. И. А н н е н с к и й. О современном лиризме. — *Аполлон*, 1909, № 1. — То же в кн.: И. Анненский. Книга отражений. М., «Наука», 1979. (Лит. памятники. Большая серия).
76. Н. Г у м и л е в. Письма о русской поэзии. Антология. [№ 26]. — *Аполлон*, 1911, № 8, с. 77.

77. Б. Садовской. Владислав Ходасевич. Счастливый домик. Вторая книга стихов. — *Северные Записки*, 1914, №3, с.190-191.
78. Н. Гумилев. Письма о русской поэзии. /.../ Владислав Ходасевич. Счастливый домик. — *Аполлон*, 1914, №5. — То же в кн.: Н.Гумилев. Письма о русской поэзии. Пг., «Мысль», 1923, с.196-197.
79. Н. Чулков. Вл.Ходасевич. Счастливый домик. Вторая книга стихов. — *Современник*, 1914, №7, с.122-123.
80. А. Журин. Владислав Ходасевич. «Счастливый домик». Вторая книга стихов. — *Новая Жизнь*, 1914, №8, с.150-151.
81. Ю. Соболев. Книга в Москве. — *Альманах Вербного базара*. Московский сезон 1913-1914. М., 1914, с.60.
82. Н. Бернер. Владислав Ходасевич. Счастливый домик. Вторая книга стихов. — *Жатва*. Лит. альманахи. Кн.V. М., 1914, с.295-296.
83. П. Губер. Поэт для немногих. Владислав Ходасевич. Путем зерна. — *Вестник Литературы*, 1921, №8, с.13.
84. Б. Вышеславцев. Путем зерна. (Стихи В.Ходасевича). — *Жизнь искусства*. 1922, №1 (5-6), с.4-6.
85. П. Ольдин. Новые книги. /.../ — *Вестник Литературы*, 1922, №1, с.15-16.
86. Г. Иванов. О новых стихах. — *Дом Искусств*, 1921, №2, с.96.
87. В. Ключева. Владислав Ходасевич. Счастливый домик. 2-ая книга стихов. Изд. 2-е. — *Казанский Библиофил*, 1922, №3, с.92-93.
88. Б. Скворцов. Владислав Ходасевич. Путем зерна. 3-я книга стихов. — *Казанский Библиофил*, 1922, №3, с.93-94.
89. И. Оксенов. Владислав Ходасевич. Путем зерна. Третья книга стихов. 2-ое дополн. издание. — *Книга и Революция*, 1922, №4, с.47.
90. А. Бельй. Рембрандтова правда наших дней. (О стихах В.Ходасевича). — *Записки Мечтателей*, 1922, №5, с.136-139.
91. Н. Асеев. По бумажному морю. — *Красная Новь*, 1922, №4, с.245-247.
92. Б. Вышеславцев. /.../ Северные дни. Сб.П. — *Феникс*. Сборник художественно-литературный, научный и философский. Кн.І. М., «Костры», 1922, с.182-183.
93. А. Полянин [Софья Парнок]. Дни русской лирики. — *Шиповник*. Сборник литературы и искусства. Под ред. Ф. Степуна. №1. М., «Шиповник», 1922, с.157-161.
94. Г. Адамович. Владислав Ходасевич. Путем зерна. Третья книга стихов. — *Цех поэтов*. Кн.3. Пг., 1922, с.60-62.

95. М. Шагинян. Владислав Ходасевич. Путем зерна. — В кн.: Мариэтта Шагинян. Литературный дневник... СПб., 1922, с.96-99. — То же во 2-м изд., доп. М.-Пб., «Круг», 1923, с.124-127.
96. Г. Лелевич. По поводу стихотворного отдела «Красной Нови». — *Молодая Гвардия*, 1923, №1, с.271-274.
97. В. Брюсов. Среди стихов. /.../ 2. Владислав Ходасевич. Тяжелая лира. Четвертая книга стихов. — *Печать и Революция*, 1923, №1, с.73-74.
98. Н. Асеев. Владислав Ходасевич. Тяжелая лира. Четвертая книга стихов. — *Леп*, 1923, №2, с.160-161.
99. М. Горький. /Письмо редактору бельгийского журнала *Зеленый Круг*/. — *Жизнь Искусства*, 1923, №2, с.19-20.
100. С. Родов. «Оригинальная» поэзия Госиздата. /.../ 10. Герой не нашего времени. — *На Посту*, 1923, №2/3, с.153-160.
101. /Без подписи/. Владислав Ходасевич. Тяжелая лира. Четвертая книга стихов. — *Город*. Литература. Искусство. Сб. I. Пб., 1923, с.105.
102. Б. Гусман. 100 поэтов. Литературные портреты. — В сб.: *Октябрь*. Тверь, 1923, с.267-268.
103. М. Кузмин. Парнассские заросли. [Берлин], 1923, с.121.
104. Ю. Тынянов. Промежуток. — *Русский Современник*, 1924, №4, с.213-214. — То же в кн.: Ю.Тынянов. Архаисты и новаторы. Л., 1929, с.547-549. (2-е изд. München, Wilhelm Fink Verlag, 1967). — То же в кн.: Ю.Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. М., «Наука», 1977.
105. М. Горький. Письма ... к В.Ф.Ходасевичу. 1922-1925. — *Новый Журнал*, 1952, XXIX, с.205-214; XXX, с.189-202; XXXI, с.190-205. — То же (по-англ.): Harvard Slavic Studies. Vol.I. Cambridge, Mass., 1953, p.276-334.
106. Н. Берберова. Предисловие. — В: 13.
107. Л. Любимов. На чужбине. — *Новый Мир*, 1957, №3, с.165-166.
108. Горький и советские писатели. М., «Наука», 1963. (Лит. наследство. Т.70).
109. А. С. Карпов. Стих и время. Проблемы стихотворного развития в русской советской поэзии 20-х годов. М., «Наука», 1966, с.215-219.
110. В. Орлов. На рубеже двух эпох. — *Вопросы Литературы*, 1966, №10, с.139-142.
111. А. Кулинич. Новаторство и традиции в русской советской поэзии 20-х годов. Киев, Изд. Киевского ун-та, 1967, с.20-21.
112. В. Андреев. Возвращение в жизнь. — *Звезда*, 1969, №6, с.94-132.

113. Н. Б е р б е р о в а. Курсив мой. Автобиография. Мюнхен, «Центрифуга», 1972. 709 с.
114. З. Ш а х о в с к а я. Владислав Ходасевич. — В кн.: З.Шаховская. Отражения. Париж, УМСА-Press, 1975, с.184-190.
115. В. О р л о в. Перепутья. Из истории русской поэзии начала XX века. М., «Художеств. литература», 1976, с.144-156.
116. В. Б е т а к и. Памяти Ходасевича. К сорокалетию со дня смерти. — *Континент*, 1979, №21, с.365-370.